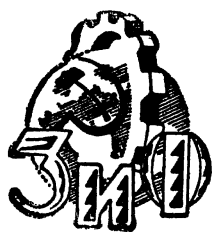


АНДРЕЙ СОБОЛЬ

КИТАЙСКИЕ
ТЕНИ



ЗиФ



АНДРЕЙ СОБОЛЬ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ IV

ВТОРАЯ ТЫСЯЧА

«ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА»
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

АНДРЕЙ СОБОЛЬ

КИТАЙСКИЕ ТЕНИ

«ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА»
МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

ЧИТАТЕЛЬ!

*Просим сообщить Ваш
отзыв об этой книге по адресу:
Москва, Центр, Варварка, Псков-
ский пер., 7/9, Информ.
Отдел «З И Ф».*

Обложка худож. В. Д. Замирайло.

Отпечатано в типогр. «Печатный

Двор», Ленинград, Гатчинская, 26,

в количестве 6000 экз. 9¹/₄ л.

Главлит № 85264

1 9 2 7

КИТАЙСКИЕ ТЕНИ

I

МОСКВА.

Вдоль и поперек, слева и справа, по диагонали, радиусами перерезают ее скоропалительные, стремительные — время — деньги, рукопожатья отменены, кончил дело — уходи; вывески трестов и синдикатов и вывески менее броские, более скромные — уполномоченных Юга, Севера, Дона, Туркестана — хлопок; черное золото, жидкое; терпкая влага крымских погребов; меха собольи; кета амурская.

И вечером на Тверском бульваре слепой старик играет на флейте — в стужу, в дождь, жару, все равно — за две бумажных копейки плачет флейта.

В праздники горят щиты райкомов, к Профинтерну, к Коминтерну подъезжают автомобили, в час перерыва индус с японцем пьют чай бывшего Высоцкого, — за долами, за морями темные, смуглые, желтые шепчут: «Ленин», — за Страстной площадью, в комнатухе, где пять коек и одно оконце, бухарская девушка читает по складам: «раскрепощение восточной женщины есть одно из...», чтоб завтра поутру ответить товарищу Зусману.

И вечером на Тверском бульваре деревенской пастушьей жалейкой плачет стариковская флейта.

А радио-телеграфист с Шабловки вольной птицей мечется по воздушным волнам и тонким острием радиоприемника щекочет королей и премьер-министров, щекочет и спать не дает.

А в самой почти сердцевине московской лежит островок: омывают его со всех сторон московские хляби, а захлестнуть не могут и Троеручицу за синими огоньками лампадки не тревожат.

Синь, синь огонек — и в сонной заводи кукует смешно и ласково деревянная кукушка на пороге своего деревянного домика, откуда струится сонное, мирное, непотревоженное время.

II

ОСТРОВОК.

Вглубь, вглубь двора — сереньким пятном, бедным, комочком незаметным, подслеповатыми, с бельмами-окошечками, к низенькому сарайчику — и пятиэтажным, бывшим доходным домом вперед, наружу.

В глубине сереньким комочком, рыжим брандмауэром наружу: к комиссарам всяким, к разным податным, муниципальным, содстрашным со всякими отчислениями и анкетами, рыжим пятиэтажным четырехугольником на любое лояльное прочтение. И прячется островок.

За рыжей махиной и не увидишь старого грибка, как в лесу за столетней сосной. А грибная шляпка-головка еле держится: не точат московские хляби, но подтачивают червячки, извилистыми дорожками, лабиринтами изъедают древесину, дело свое делают, потому вдруг ночью начинается стрельба под обоями, и тогда бормочет про себя Гликерия Антоновна, почесывая теплый, в испарине живот:

— Ремонт нужен. Надо поговорить с Димой, — и засыпает, чтоб поутру снова забыть о стрельбе, и спит сладко, вкусно, точно уписывает слоеные пирожки, и чмокает во сне и не слышит, как в соседней комнате племянница Надежда мечется от стены к стене.

Вторая ночь без сна — сколько ночей может не спать человек — вторая ночь в ожидании первой вечерней звезды.

И вот: стрельба под обоями — думы о стрельбе на улице; тут червячки — там люди ловят человека, и мчится из переулка в переулок человек, отстреливаясь от человека, от человеческой погопи задыхаясь.

Не глядя, Надежда ищет под кроватью ночные туфли — остроносые, кавказские, шитые, двадцатый или тридцатый подарок Димы за последний месяц, — и к окну.

Распахнула форточку — выручи, ночь весенняя...

А двор, как могила — и на краю могилы только раз, другой:

— Дима...

И все. Не выручает ночь весенняя, не рождает в тиши стука милых шагов — и от стенки к стенке в тревоге, в боли, в отчаянии.

Потом — потом со столика ночного берет часики — хрустальный шарик, а внутри живая жизнь бьется, жизнь под стеклом плотным: стрелки шевелятся, отмеряют время смерти и время сущего (тоже подарок Димы), — к хрустальному шарiku подносит спичку. Загорается шарик, переливается огоньками, струятся, льются огоньки. Миг — и темень, и в темени ясно: поздно, уже не придет, в окошко не стукнет.

Ах, этим бы шариком да себя по голове, да закричать, да застонать — не сквозь зубы, а без удержу, — а потом показать перепуганной тетке Гликерии синяк на лбу:

— Вот потому и кричала. На косяк напоролась. Иди спать.

Катится по полу хрустальный шарик: остановилось время смерти и время сущего. На широкой, на двухспальной кровати — комок в углу, словно загнали в тупик зверька затравленного.

И белеют на полу подушки, простыни...

III

МИР, ТИШИНА И СДОБНЫЙ ХЛЕБ.

Поутру, когда входит тетка Гликерия с подносом, и кофе дымится, и сдобные булочки набухают, и подмигивают острые изюминки, и тоненько звенит серебряная ложечка, и весталочкой сбоку белоснежная салфетка, опоясанная золотым с инициалом пояском, — уже чинно лежат подушки и простыни на месте назначенном, и будто сквозь сон бормочет-тянет Надежда:

— За-аспала-ась я... Ты меня балуешь.

И присасывается тетка Гликерия к краю постели капотным в разводах задом и поит Надежду с ложечки:

— Золото ты мое. Как же тебя не баловать!

А за дверью шарканье шлепанцев и тенорок дядюшки Илиодора Антоновича — тенорок ласковый, без заминки проникающий, точно вазелипом обмазанный:

— Проснулась красавица? Можно к ручке?

И долу клонится взбитый хохолок, а глаза с подушечками сналету впиваются в щелочку ночной кофточки.

— Еще одну булочку, — уговаривает тетушка Гликерия и зачитывает: — А каких я рябчиков достала!

И подпевает Илиодор Антонович, вазелин сахарной пудрой посылая:

— А у нас сегодня к обеду пломбир и старое венгерское. Честное слово, 1884 года. Каково? Это тебе не паршивый Винторг. Твой Дима, доложу я тебе, исключительная личность, Надежда. Надежда, ты можешь почитать себя самой счастливой женщиной в Москве. Так жили только Рябушинские. И то до войны. — И снова к ручке — хохолок, и снова в вырез кофточки — голубыми стеклянками, и слипаются глазки от блаженства: удалось смуглый сосок увидеть.

И, изнывая от колючего отвращения, Надежда треплет по хохолку:

— Ты уж скажешь! Иди, иди, я буду одеваться.

С подносом плывет в столовую тетушка Гликерия, за тетушкой семенит Илиодор, шуршит свежим номером «Известий», воцпит пол пленанцами, смуглым соском полон, брючкам в полоску тесно...

И в столовой щипком ярым впивается Гликерия в соломленную ручку Илиодора.

IV

РАЗГОВОР КРОТКИЙ, С ТОЧКАМИ.

— Дурак, дурак ты неописуемый!

— Ой!

— Не пищи.

— Пусти руку.

— Сколько раз я тебе говорила...

— Больно, больно... пусти.

— Дурак, дурак веснушчатый. Сто раз тебе говорила: не тычь ей Димой в нос. Просила тебя: не расписывай. Нашелся иконописец! Дурак ты плюгавый. Умоляла тебя: не вылезай с этим счастьем. Жрешь, пьешь, баб покупаешь дарами чужими — и молчи. А ты все свое: самая счастливая... Самый ты идиотский человек в Москве. Скорей говори: наврал про венгерское?

— Честное, благородное слово: 1884 года.

— Выклянчил?

— Не оскорбляй: я дворянин. Сам дал.

— Врешь! Три дня его не было. Врешь, как собака.

— Пардон, голословное обвинение. Пусти руку. Я тебе говорю: пусти руку, а то буду молчать, как бессловесное существо. Ничего не скажу. Ты щиплешься, как кухарка, а еще в капоте. Вчера его видел.

— Где?

— Запиской вызвал.

— Опять врешь?

— Я молчу. Я не могу говорить под угрозой. Пусти, пусти руку. Довольно с меня коммунистов, так ты еще с насилием. Ничего не скажу.

— Илиодор!

— Я не оглох. Хорошо, хорошо... Клянусь: запиской. Тот самый... летчик принес. Виноват... что под летчика. Вызвал к Филиппову. Ну, загусили, то — другое. Просил не волноваться, если задержится. И преподнес. В корзине венгерское, Наде — фрукты, а тебе...

— Сколько?

— 25.

— Сколько стащил?

— Ни одного червонца.

— Врешь!

— Ты опять?

— Не пиши!

— Боже, боже, какая ты злая стерва, а еще моя сестра.

V

ЧЕЛОВЕК В ПИВНОЙ.

Звонят, стучат, гремят, бубнят, грохочут стулья, ноги, стаканы, коурые бутылки, блюда с горохом, ножи, вилки, разверстые рты, похожие на развороченные помидоры.

На помост — на плаху ежевечернюю — лезет Мишка-гармонист, мокреет красная рубаха, липнет к спине; медно-красные сосиски раздвигают сизые человеческие губы, чтоб потонуть в ненасытных впадинах; растекается пена, умирая безропотно на досчатой поверхности.

За дверью — вечер весенний, весь полон намеками волнующими, за дверью — Москва, Кремль, гробница на Красной

площади, первые чудесные завитки зеленой радости, — зеленый венок над курчавой головой внука арапа, — и выгибается, извивается, сжимается и вновь разжимается гармонь-итальянка.

И плачет, и стонет, и смеется, и бредит, и жалуется, и плюет на все, и кается, и захлебывается от слез, и звериным рыком рычит, и просит, и молит, и издевается, и ко дну идет камнем, — только побежали да разбежались под дымным потолком пьяненькие, нет не круги, а так, кружочки, — извечная песня русской засморканной, заплеванной, прокуренной и проплаканной пивнушки.

И только один столик трезв. И только за одним столиком стиснуты зубы, и только за одним столиком не туманятся глаза.

И глаза прикованы к двери.

Дверь, — как провал в бездну.

И когда из бездны появляется рукав, а на рукаве летный значок — человек в пивной выпрямляется, хочет встать. И — тяжело опускается на свое место: летчик идет к нему, летчик присаживается. У летчика — узкий рот и узкий подбородок, у летчика — узкая рука с длинными узкими пальцами, весь он узкий и острый, как лезвие: к столику присел — точно пополам его разрезал и стружки ни одной. И летчик обручальным широким кольцом стучит о ребро стола, и летчик пенит пену — и только на миг тускнеет и притупляется лезвие: пьет жадно, быстро, одним глотком, с коротким клетотом. И у летчика — мокрые волосы, и одна прядь прилипла ко лбу.

И человек в пивной — тот один, который среди сотни сухо трезв — хочет улыбнуться летчику и не может: только скривился.

Но лезвие снова отточено: и летчик на гримасу отвечает улыбкой.

Изгибается, выгибается гармонь - фокусница, потные пятна ширятся на красной рубашке: не то палач, не то жертва. — играй и умирай, умирай и играй, Мишка-гармонист!

И под топ, гам, хлюп легко говорить глазами, намеками слов:

— Кончено?

— Да.

— Обоих?

— Одного.

— Жабункова?

— Нет, Жабункову удалось — Гладкого.

— Выдаст?

— Обязательно.

На две, на три минуты стихла гармонь.

— Шпарь! Плочено! — надрывается отставная царская шинель с пролежнями на плечах — там, где годами крепко сидели погоны.

И подхватывает черная косоворотка в масляных следах:

— Заплачу, шпарь!

И снова — ходуном красный гармонист, сплелись в одно палач и жертва.

И человеку в пивной говорит летчик:

— Дима, это конец. Надо улетать.

И — наконец-то смог! — улыбается человек из пивной:

— От хорошей жизни не полетишь.

Летчик встает.

И вдруг человек в пивной с размаху бьет кулаками по столу и кричит — кричит вот так, как кричала шинель отставная, как кричала и слюной кропила соседние кружки косоворотка черная:

— Шпарь!

И тонет человеческий голос в пивном, в хмельном, за-сморканном, проплаканном, прокурепном гаме.

VI

ПОЛОЖИ МЕНЯ, КАК ПЕЧАТЬ, НА СЕРДЦЕ СВОЕ.

И два — три часа спустя, когда уже летчик на автомобиле мчится на Благущу, а Жабунков, на другом конце Москвы, сквозь зубы стонет от боли: крепко засела мууровская пуля в плече — и одной рукой рассовывает по карманам деньги, документы, командировочные удостоверения, а Серебрякова, бывшая актриса, ходит за ним по пятам и, роняя головные шпильки, взвизгивает: «Ты не уедешь без меня, ты не покинешь обожающую тебя женщину», — человек из пивной подъезжает на извозчике к тому углу московской сердцевины, откуда видна близко пятиэтажная гигантская коробка — днем рыжая, а сейчас, к ночи, дымчато-серая, — и от угла крадется к воротам.

И — от ворот к островку, к Троеручице, к кукушке, к деревянной вещунье, к окошку (стук-стук, условный знак, от которого бедное женское измученное сердце острыми, радостными лучиками расщепляется), к крылечку, к милым, к желанным рукам, вот так: рвануться, прильнуть, живой кровинкой обменяться.

— Надежда... Любовь моя... Единственная.

А на Благущу летчик ждет, а на другом конце Жабункова сверлит мууровская пуля, а еще в третьем месте Гладкий дает показания, адреса, быть может, даже явки... но — затворница, затворница, месяцами держал ее взаперти, шелками одаривал, духами опрыскивал, куропатками кормил, на ладонь клал редкостные камни; камни переливались, играли, но не переливалась человеческая душа, огнями не психодила — мукой, и только ночью, только в ночь, в другую будил условным стуком и мучил до рассвета ласками и мучил вечным напоминанием: надо уходить — и уходил, как только светало — полунощный гость, редкий гость.

А на Благуше летчик ждет, узкое лезвие врезалось...
по — затворицца, затворицца!

— Надежда моя!.. Последняя.

И вот так: живой кровинкой обменяться, о беге часов забыть, времени сказать: я тебя не знаю, не тронь меня, и — забыть, забыть, как стреляют агенты, как ловят человека в переулках, как соловьями московскими заливаются свистки, и как на московском выщербленном тротуаре бончается человеческая жизнь.

— Надежда моя!..

— Увези меня, Дима, увези! Не хочу я колед, не хочу я серег. Все отдаю за одну минутку посидеть с тобой рядом на бульваре, не боясь. Не хочу я обедов богатых, с винами. Не хочу венгерского 1884 года... Такой любви хочу, как любили в тысяча восемьсот восемьдесят четвертом.. Без страха, без оглядки... Чтоб дом был дом, любимый — любимый, а не... Лучше голодной... Лучше так, когда мерзли, когда свеклу прятали. Но знать, что Москве ты не враг, что могу встречать, провожать тебя, как любая женщина... Как все другие женщины. Счастливые! Увезешь? Скажи, увезешь? Знаю, знаю: теперь уж в Москве нельзя. Для тебя Москва — могила. Моя Москва — и для тебя могила. Москва, а для тебя, как плаха. Так увези, увези... Скажи, скажи: увезешь?

В хрустальном шарике, под стеклянным плотным покровом неумевные стрелки плетут свою сеть и — маленькие — не отстают от больших — кремлевских: со всех сторон идет ночь на Москву, над всей Москвой ночной час на дозоре.

— Увезу. Тихе, Надя, тихе. Увезу. Я люблю тебя. Завтра вечером мы уже будем далеко. Я люблю тебя. Стрелял, связывал, в рот тряпку совал, а тебя видел. Люди тряслись, деньги отдавали, я их рассовывал по карманам и знал: все для тебя. Все. Потому что люблю тебя, потому что никого и ничего больше не люблю!..

О, как далеко до Благуши, и на Благуше летчик поку-сывает тонкие губы, и на Благуше летчик прислушивается к каждому шороху... но — затворница, затворница!..

В комнате робкий всхлип — не то ребенок плачет, теменью напуганный, не то женщина, горести свои под-считав, — все, все! — уже радостно к новым идет, всхлипнув напоследок.

И над всхлипом — голос, еще пока усталый, чтоб потом, попозже, в свою очередь, загореться новыми, другими — жаркими, телесными словами.

— Внутри, Надежда, все выжжено. И Москвы для меня нет, и России нет. Только одно могу: руки вверх и к виску револьвер. Бывший поручик Дмитрий Смоляков заставляет Москву руки поднимать, деньги отдавать, а у самого пору-чика ноги из глины: подкашиваются. Не стоит Дмитрий Смоляков на своих ногах, все шатается. Чужие ноги чужого человека. Какие они умницы, что таких железом каленным выжигают. Это из газеты, из декрета, но это веление па-стоящее. Какие умницы! И надо, чтоб завтра... Не слушай меня, это не я говорю, это мое отчаяние говорит. У тебя соленые губы. Почему? Дай губы, дай... Надежда, моя, чернобровая, ласковая, терпеливая... Уве...

Жаркая постель.

А своим чередом свершает земля свой круг, и, как было, как будет, как должно быть во векв веков, ночь послушно завершает свое ночное бдение — и идет рассвет.

И в весеннем легком рассвете, всегда, всегда, Москва возникает как некое чудесное выражение всех наших за-таенных дум и чаяний.

VII

УШИ В ГЛАЗКЕ.

Глазок — это небольшое круглое отверстие в двери тюрем-ной камеры, чтоб надзиратель мог в любую минуту из

коридора глянуть: а вдруг арестант собирается повеситься на подтяжках своих.

Над глазком — из своей компаты в смежную, в Надеждину — дядюшка Илиодор Антонович месяда полтора работал, работа тонкая, работал мышкой незаметной, а как прильнул в первую ночь к глазку — котом ярим на стенку полез.

По утрам: «проснулась красавица, можно к ручке?», по старой привычке в вырез сорочки, кофточки — легальное наблюдение, а про себя, про себя: «Я тебя панзусть знаю, не хуже Димы твоего».

Вечер за вечером, почь за ночью глаз в глазке, а подушечка глаз подпирает, а когда в комнате два голоса, два дыханья — приникает и ухо, сухонькое, маленькое: к глазку раковинкой — и все слышно.

И сухонькое ухо знает, раньше репортера «Известий», в какой конторе вчера трех связали, и сколько беленьких и желтеньких транспортных бумажек унесли, и сухонькое ухо знает, что бывшая актриса Серебрякова заставила Жабункова для церкви одной всю трехдневную выручку отдать во спасение окаянной души.

И глаз видит, какой футлярчик в поздний час почной на туалетный столик ложится, и что в этом футлярчике вспыхивает.

И глаз и ухо счет ведут, а счет большой.

И как трепещут соломенные ножки в фильдекосовых кальсончиках, когда сорочка с круглого плеча, смуглого, сползает, — так и руки дрожат от футлярчика до футлярчика. И руки вожаделенно тянутся — за один такой футлярчик любую женщину получишь, не то что курносую с Тверской — можно даже адресовать письмецо в оперетку, и даже в кордебалет с предложением насчет небольшого, вполне интеллигентного времяпрепровождения, — но стоп: стена,

обои. И опять, и опять остаточки, объедки с пышного стола, крохи, наспех выглянченные скомканные бумажки, канитель с Гликерией, щипки без всякого уважения к мужскому достоинству.

Замирает ухо в глазке.

И однажды ухо отваливается от глазка, точно его ножом подсекли — и обалдевшие ручонки спешно, торопливо натягивают на фильдекосовые кальсончики полосатые брюки, и брюки стремительно несутся к двери: разбудить, разбудить Гликерию, караул, караул, кончается сытая жизнь, заест опять сволочная большевистская Москва...

Синь, синь огонек лампадки, не спит Троеручица, тремя руками благословляет, а по подушкам разметалась груда белого пухлого теста — и по локоть входят в квашню соломенные ручки:

— Да проснись ты...

И минут пять спустя несутся назад к глазку полосатые брючки, а за ними сопит, хлопает квашня, и на ходу вываливаются груди, и тройной подбородок тянет за собой на буксире зад толстый.

И два уха льнут к глазку, и одно ухо другое отталкивает.

И, разливаясь вдоль стены, приликая к стене, белое пухлое тесто, растекаясь, набухая, мнет под собой встречанный хохолок.

VIII

ПИСЬМО ЛЕТЧИКА.

«... Мы улетаем. Мы засыпались. Ничего не поделаешь, это закон: десять, сто раз удачно, а на сто первом провал. Кризисы, крахи неизбежны, в этом я как-будто марксист. Я, во всяком случае, шел на это. Не знаю, как мои милые товарищи по профессии, но я жил и делал свое дело сухо, просто, без дурацкой романтики. Как только на Тверской

открылась первая гастрономическая лавка, и я, изголодавшийся, как сукин сын, как крыса в жидовской синагоге, увидал после воблы, после ячневой — балык, сыр и великолепное итальянское салями — я сказал себе: копчено, падо жить. Надо, чтоб все эти нужные для жизни штуки были у меня: и рокфор, и вино, и женщины, и такси. И все это было у меня. И все это я брал охапками. Правда, жизнь моя началась ночью. Но ведь это только внешнее перемещение плоскостей. Я знавал в Париже одного чудака. Он обладал особняком, крепкой рентой, не боясь никаких социализаций. И он вставал только в девять — в десять вечера. А как только поднималось солнце, он брал ванну, выкуривал сигару, раздевался — и в постель. И он говорил: солнце только для тунеядцев. Нет ничего прекраснее московских лунных почей. Я без сожаления покидаю Москву, и если буду жалеть — то не о ней. К чорту ее, она стала похожей на проститутку, у которой под шелковым платьем грязная рубашка со следами старых менструаций. Буду жалеть только о тех лунных ночах, когда я после удачной операции мчался в Петровский парк. Ветер свистит, проносятся спящие дома, ни одного живого коммуниста, никого возле тебя, только ночь и луна — хорошо! Но, впрочем, мир велик. Будут другие ночи и другие парки. Хотя... Но ладно, я уезжаю с легким сердцем. Я не романтик, и потом: к юбкам я ходил на такое количество минут, какое полагается здоровому человеку в 35 лет. Жабунков везет с собой свою старую облезлую выдру. Он бы рад отвязаться, да не может. Эти бывшие инженюшки к сорока годам прилипчивы, как большевизм. Мне его не жалко. Если можно кого-либо пожалеть — так это только Дмитрия. Тот любит по-настоящему. Тот любит, как любить умели в прошлом, когда Скобелевская площадь была Скобелевской, а не чорт знает чем. Я и тогда не умел. Но

другие умели: глупо, сентиментально, но красиво. Сейчас он должен приехать. Я жду его. Я ему категорически заявил: без бабы. Он обещал. Иначе пусть остается здесь и пропадает, как тихий пидрот. Я убежден, что из-за нее он и пристал к нам. Ему бы быть честным хорошим спецом. Получал бы высшую ставку и вдвоем с законной женой ходил бы на концерты Персимфанса. А он... А его все нет и нет. Подожду еще полчаса и сменю позиции. Скучища адская: ночью ждать мужчину глупо и скучно. От скуки пишу тебе. Поутру моя глухая бабка с Благуши отправит тебе это письмо. Не бойся, не по почте. А потом — чего тебе бояться, ты собиратель человеческих документов. Скотство, его все нет и нет. И, по правде говоря, мне без него уехать трудно: я привык к нему, мне он какой-то своей стороной нужен. Какой? — не знаю, да и лень мне об этом думать. И — запась: вот пишу тебе, убежден, что сюда ни один чорт не заглянет, что здесь я в безопасности, как в Кремле, что Гладкий об этой квартире и не догадывается, а все же тревожно. И нет-нет, а тянет к окну и из этого оконца взглянуть на... Стучат. Это Дмитрий, наконец-то! Иду, кончу потом...»

IX

ДЕНЬ, НЕ ПОХОЖИЙ НА ПРЕЖНИЕ.

Какое счастье, как чудесно проснуться поутру и рядом с собой на подушке увидеть — впервые, впервые в солнечное утро! — голову любимую, голову с взъерошенным пробормом. И как хорошо рукой своей этот проборм пригладить, и как чудесно-смешно, что можно, полулежа, опираясь на локоть, разглядывать брови, губы и прикасаться к ним...

И как приятно пробежаться босиком по холодному полу в столовую, чтобы полушопотом, но весело, радости своей не скрывая, сказать тетушке Гликерии, чтоб поставили

самовар, чтоб посудой не стучали, не гремели, что Дима, Дима поздно заснул, что Дима, Дима...

И тетушку Гликерию поцеловать на ходу — и только на миг запнуться, только на миг потускнеть, когда вдруг тетя отзывает в сторону и говорит... Господи, о чем тут говорить! Раз нужно все эти камешки, все эти проклятые кольца, все эти штпки — матовые, янтарные, черные — куда-нибудь унести, припрятать — тем лучше. И не видеть бы их, и не слышать о них, и не знать о них, — только тише, тише: Дима спит, он так поздно заснул.

И опять босиком к себе, и опять назад (тихонечко, тихонечко, чтоб не разбудить) к тетушке, с полными руками коробочек, футляров, пакетиков. И вот еще один сверток, и вот еще другой, и вот еще третий — и все тетке на колени.

И толстый живот каким-то чудом всасывается во внутрь, уходит в неведомую глубину, в прорву, чтоб принять под широкие груди кольца, брошки, камни, связку иностранных ассигнаций, перетянутую резинкой.

Все ушло в живот; мокреет, в испарине сладкой, квашня белого пухлого теста, только кое-где проступают красные пятнышки, точно первые, еще смутные следы крови.

А в глазке глазок: на страже, по уговору, по сговору, по плану, и хохолок — не так, как в прежние дни — тверд, настойчив и упрям.

И, когда в радости легкой убегают босые ноги — точно на крыльях уносятся — в спальню, туда, где русский пробор так по-детски смят, — глаз отрывается от глазка: хохолок несется к Гликерии. И хохолок развевается на ходу, и квашня со свертком в руках лезет на старый прогнивший чердак, и скрипит лесенка ветхая, и карабкается следом хохолок, карабкается, не отстает — и соломенными ручонками роет ямку, а над хохолоком две груди нависли, две гири.

И опять глаз к глазку. И две гири туда.

И бормотанье, и хлюп:

— Пусти...

— Спят.

— Оба?

— Оба. Убери свои титьки, они мне мешают.

— Дур... Голубчик, Илиодорushка... теперь скорее...

И следят, следят гири за тем, как выводит соломенная ручка:

«В Государственное Политическое Управление, вкратце именуемое Ге-Пе-У.

Считаю своим нравственным долгом и отнюдь не опасаясь репрессий, в силу своей сугубой благонадежности по отношению к законной власти, довести до сведения...»

С порога своего деревянного домика, откуда струится сонное, мирное и непоотревоженное время, в девятый раз прокуковала кукушка — вещунья коричневая, — что идет и разворачивается день.

ПАНОПТИКУМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

БЕЛЫЕ ДНИ И БЕЛЫЕ НОЧИ — все белым-бело. Сугробы в рост человеческого, за воротами во дворах, по садам за плетнями, по огородам горы неукатанные, между небом и землей ни одной точки, ни одного пятнышка, а внизу кудые домишки и покляпые хибарки, как изюминки в сдобном пушистом каравае.

Второй год жизни города Красно-Селимска — сотни лет знает за собой городок Царево-Селимск. Но — красный ударил по царскому затылку, исправника застрелили на Козьей Горке, в участке на стенке четырехугольное белеватое пятно вместо портрета с короной и державой, на тех же гнилых обоях с мушинными воспоминаниями, но на другой, соседней, стене повый портрет, гарнизонный начальник Кубани, в его дому районный комитет, из Борисо-Глебской обители раку с мощами увезли в вагоне с надписью «рыба», петербургский футурист в фуфайке с вырезом открыл студию поэтики, а снег все падает и падает.

До снега, в мокрую, мелко дрожащую осень Красно-Селимск во тьме: на электрической станции пет дров, за керосином красно-селимцы охотятся, точно в прериях за редкостным зверем, главного мешочника Евдокимова за пять лиц слышно — так несет от него побелем, мазутом и еще чем-то, в студии поэтики после вечернего семинария деушка одна дает петербургскому футуристу пощечину и

кричит надорванно: «негодяй, обманул», — и футурист поутру удирает с казенным билетом и мандатом без оглядки, древняя старушка в хлебной очереди плачет кровавой слезой и грозитя рассказать господу богу про все людские пакости, а дождь все сечет да сечет.

Дождь над Красно-Селимском — войлоком тучи над всеми полями, над всеми оврагами, буераками и проселочными дорогами, мокнет Питер, мокнет Кострома, грязь в Москве у Иверской, мутные потоки в Канавине под Нижним, — на Урале, в Сибири, на Украине по колено в воде полки, дивизии, мокрые пунжи, мокрые обозы, мокрые декреты на русских мокрых заборах — и шлепает по лужам Русь, шлепает и не боится, шлепает и сквозь тучи с солнцем беседу ведет:

— А ну!

... Дождик, дождик, перестань...

II

В ноябре, сейчас же после празднования годовщины, нагрянул в Красно-Селимск важный гость из Москвы. У него свой вагон и автомобиль на прицепленной платформе. Два раза рывкнула сирена, взбудоражила улички, переулки, тупички, лошадей напугала и двадцатипятилетних, от регистрации уклонившихся, а на третьем осеклась: автомобиль застрял — на главной улице; засосала грязь, запутался в темпоте — и в этот же час Красно-Селимск твердо и решительно объявил войну тьме.

Тьма проваливается, как в театральнй люк побежденный дьявол, один за другим бегут вперегонку электрические чудотворцы, и после долгого перерыва загорелась на Спасо-Кудринской, радуя мальчишек, курьеров и советских барышень, правда, худосочная — всего-на-всего три лампочки, — но все же ослепительная вывеска:

«Паноптикум»

На Спасо-Кудринской, ныне Триумф Революции, почти на главной улице: неподалеку Совет, тут же центральный распределитель, здесь же заколоченная, полусожженная охранка. Горит, зовет, манит, привлекает вывеска, и еще как горит, и еще как зовет, и какие чудеса обещает!

Дождь, грязь, слякоть, дождь, дождь, темно-бурая мешанина под погами, над головой небо, как байковое больничное одеяло — и все-таки:

«Паноптикум»

Но как только завывла первая метель — так все прахом пошло в Паноптикуме.

А начало пезадачливым дням положил скелет морского человека.

Внезапно, неизвестно почему, он уронил свои подпорки и мелко рассыпался, но так, что ребра легли поверх колённых чашек, а берцовая кость упала на скулы. Раньше гордо и даже презрительно-гордо стоявший на возвышении, точно державный повелитель, вознесённый над ничтожной и одноликой толпой, он обратился в нелепую кучу желтых, нет, даже не костей, а пустых дрянненьких костяшек.

Почему — неизвестно; может-быть, от холода: весь ноябрь не топили; возможно — и от тоски: мало внимания уделяли ему редкие посетители, и слишком часто стреляли на улице — и так ощутительно близко, что у скелета пальцы вздрагивали, точно подвески на люстре; а может-быть, от обиды и горечи: только вчера какой-то матрос сунул ему в рот слюнявый окурок и по черепной покрывке хлопнул ладонью, сказав: «Шут гороховый, идиот собачий».

И свалился с трона своего и пал низко морской человек — бедная залетная птица из неведомых стран — и кончил дни свои под свист русского зимнего ветра, на

Спасо-Кудринской, ныне Триумф Революции, дом номер три, Пушечского участка.

А в этот самый почти час начальник милиции составлял грозную неукоснительную бумажку о немедленном закрытии специального жепского отделения, как неприличного.

III

Милицейская барышня с чолкой, в казенных валенках, выстукивала на «Ундервуде»:

«...В 24 часа не имеющего в себе никакого научного следа, кроме как порнографии и приманки для темных элементов города...»

И отделение для женщин, где по пятницам в банках из-под варенья показывали зародышей, в ящике со стеклянной крышечкой слепки половых органов, кишеч и сифилитических язв, а за спиной занавеской фазы беременности и знаменитых куртизанок, — закрылось

Закрылось бесповоротно, как окончательно в небытие ушел морской человек — к картофельной шелухе, к битому стеклу, к отбросам: из морских таинственных глубин, пробираясь Лондоном, Тулой, Пекином, Либавой, Калькуттой, через десятилетия, столетия, туманы, тропики, снега, мимо кафедр, дирков, полисменов, цилиндров, городских, кепок, солдат, учителей, московских кожаных курток, парижских гаменов, проституток, сквозь революции, войны, бунты — к помойной яме на задворках бывшего дома купца Чашина.

IV

Объяснения насчет язв и прочего давал сам Цимбалюк.

Был он сед, вежлив и почтителен с виду, а фотографиями и картинками ведала Маргарита, она же в остальные дни, кроме пятниц, женщина с сердцем в правом

боку, в правом без обмана: приложишься, и слышишь, как бьется живое сердце, по-настоящему, как у всех прочих — в левом.

V

Маргарита, скрепи правое сердце, перетащила банки в чуланчик, фотографии куртизанок (от любовниц фараона Рамзеса до черкешенки Абдул-Гампда) сунула за картину «Клеопатра на ложе», Цимбалюк забил ящик с язвами, а в субботу, подсчитав выручку, смятенно потряс фальеровской бородкой и ночью поколотил Маргариту — бил ее по левому боку, оберегая правый.

А тут еще что-то свернулось в груди раненого бура, и он перестал дышать: крикнул, поперхнулся и затих. И вдруг восковая тиролька с щелочкой сбоку, куда раньше бросали пятаки, стала лениво мигать, точно вошла в соглашение с буром. Мигала нехотя, паскудненько, не чувствовалось в ней прежнего усердия, и не искрилась прежняя пгривость, когда за медный царский пятак подмигивала тонко, завлекательно, словно пригласала к себе для приятных утех.

Никто не мигает, никто не дышит — мертвым-мертво, как на улипе, где снежная пыль завивается и песется вдоль беспробудных домов. Никто не дышит, не подмигивает, к ящичку с монетами Людовигов, Карлов и Иоаннов Безземельных редкий приближается, хотя осанисто возглашает Цимбалюк, что сию монету в своих собственных руках держал Людовик-Кенз Шестнадцатый, и розовощкая Мария-Антуанетта в напудренном парике напрасно подтверждает это царственной улыбкой пунцовых губ, — королева, казненная народом за излишества и развратную жизнь, и тщетно в ящичке с двумя глазками пылает пожар Брест-Литовска, и безуспешно гардует на Аркольском мосту маленький пузатый корсиканец.

И если бы не человек-кости-да-кожа — Збойко, двенадцатипудовая женщина — Жарикова, и девица с трехаршинной косой — Клара Анисимовна, да лилипут Альфонс Матэ, он же Егор Сушков, клипский мещанин, побежала бы Маргарита к реке и возле зеленоватой проруби расплатилась бы сразу за все мосты, за все язвы и все революции: и за ту, когда казнят за непотребную жизнь, и за ту, когда дров не сыскать, и слесарь Митька не хочет чинить раненого бура без ордера.

В декабрьский мороз овеществленный — хоть на ощупь бери, — карающий в пустынных улицах, в декабрьскую стужу, цепкую и в домах, когда на окнах тройные узоры, а за окнами тройная тишь, белая гладь и белая смерть, упали со счетов — бур в австрийской куртке и красноармейских обмотках, тиролька-завлекательница, крохотные зародыши в мутных банках, где раньше липко грудилась засахаренная малина, и уродец с раздвоенной головой, раскосый, блеклый и вялый, как дохлый лягушонок.

А в капучи Рождества, метельный, голодный, безветчинный, в аннулированных карточках, вьюжно-хриплый, в сапочках с промерзлой свеклой, — поспешили за мертвыми — гипсовыми; восковыми — и живые.

Первой исчезла двенадцатипудовая Жарикова, ставив платок Маргариты и бархатные туфли великой трагической актрисы Рапелль, еврейки с крючковатым носом на восковом, цвета шафрана, лице. Платок и туфли, нырнув, выплыли на Новом Базаре в обмен на конину и кислую капусту: без капусты двенадцатипудовая икала беспрестанно, испытывая особое стеснение в тугих набухших грудях с прямыми твердыми сосками.

За ней, лихо взмахнув косой, точно рыба хвостом подалее от крючка, ушла Клара Анисимовна, а дней через десять, уже коротко стриженная, в мелких кудряшках,

приставала панельной к красноармейцам и быстро паметанным говорком просила угостить папироской «птичку-невеличку, сочувствующую большевичку».

Кожа-да-кости Эбойко таял со дня на день, и хотя это на нем не заметно было, только лицом серел да уши свисали ниже, как у лягавой, — Маргарита все же не сомневалась, что и он сбежит: недаром он к окнам подходил, на стекло дышал и голодными глазами шарил по соседним трубам — дымки вьются, люди ложками стучат.

И все свои последние чайния возложила Маргарита на лимпуга, на Альфонса Матэ, на дряблые щечки его, на тоненькие ножки и ручки, на Егора Сушкова, на цилиндр его и сюртучок, на Егорушку — верного и неизменного — на его большую предашную душу в крохотном теле.

А вьюга — вьюга-то все разворачивалась и разворачивалась.

Потопила пяток тощих елочек на Сенном рынке, заглушила рождественский звон, сани председателя Совета кувырком сбросила в Лисий Овражек, как раз в ту минуту, когда председатель торопился на собрание, с новым из центра декретом, а декрет важный, а овражек глубокий, и края его обледенели. Погубила Клару Аписимовну, заморозив ее, опалевшую от ханжи, в подворотне тайного кабачка, отняла единственного в городе поросенка у подрядчика дров при комиссариате и перебросила на другой конец города, ночью, когда пришли арестовать за осинового вместо березовых. В трубе гадалки и хиромантки Миничкиной завывала звериным воем и в седьмой пот вогнала контр-адмиральшу Копрошматину, пришедшую не в первый и не в последний раз узнать по бубнам и пикам, когда уйдут большевики, и где ныне сын ее, корнет с Георгием, красавец с белокурыми усами.

VI

И, на мгновение разорвав вьюгу, вышел из снега, из белой мешанины лидер анархистов-эгоцентристов Аптон Развозжаев.

Раз — другой стукнул он в дверь Паноптикума, — в храм Цимбалука, — нарушил тишину единственного убежища Маргариты, женщины с сердцем в правом боку.

И сердце это, как у всех прочих в левом, забилося жутким биением и замерло, холодея, когда, наткнувшись на Марию-Антуанетту, крикнул Развозжаев:

— Где хозяин?

А Мария-Антуанетта не выдержала напорного толчка, зашаталась, качнулась, упала во весь рост, и с коротким треском отскочила ее голова — отскочила и покатилась по полу, рассыпая гипсовую пыль: синевато-белую сухую кровь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

На сборной площади, за холмом братской могилы Яшка ущемил обледеневшего мужичка, кончиком нагана заставил повернуть дровни назад, наградив обещанием четверти махорки и тонких афишек на собачьи лапки — и к полдню перевез в Паноптикум из прежнего жилища, из особняка, откуда вдруг пришлось удалиться, все групповое добро.

Чуфыкали дровни, везли в Паноптикум шрифт, козлы для пилки дров, детскую коляску Серафимы, типографский станок, печки железные, самовар и литературу.

На Малой Болотной зашептались:

— Большевики уходят.

Контр-адмиральша Копрощматина, обомлев от радости неопикуемой, о полу коленями шаркала, два башлыка

рысцой побежали на Дурьлинскую к соборному протоиерсею, и башлык башлыку по дороге предлагал прежде всего ударить в большой во Владимирской, в комхозе барышни ронлись и к казначею приставали, чтоб сразу за три месяца вперед выдали.

А для себя взял Яшка, захватив тайком, обернув тюлевой запавеской, чтоб Развозжаев не заметил, заводного слона с палаткой, с вожатым, постукивавшим молоточком по слоновой башке, — затейливую игрушку из последних остатков княжеского добра. Князь випо курил, перегонные кубы служили верой и правдой, богатства множили, княгиня в кадетский комитет входила, с графией Паниной переписывалась и слонами обзаводилась для счастья: слоны на туалетном столике, слоны на этажерках, слоненок на браслете. Обзаводилась-обзаводилась — и всех слонов порастеряла; первый — туалетный — в апреле семнадцатого скovyрнулся, последний, замысловатый, с туринской выставки, Яшке достался — на Яшкино счастье, а князь ныне в Париже о России хлопочет и для нее и для своих кубов подходящие законы сочиняет.

А тяжелый сундучок, окованный медными полосками, глаз с него не спуская, всю дорогу одупывая его, Яшка перевез отдельно, подложив тюфяк спизу, и дома с самим Развозжаевым перенес его в заднюю комнату, про которую Развозжаев сказал, что он берет ее себе.

И на Большой Болотной зашущукались:

— Большевики золото увозят.

И два новых башлыка галопом помчались, мигом сугробы преодолев, к отставному полковнику Седенко, у кого уже лет десять ноги бубликом от подагры и ветхозаветная берданка припрятана в чулане, и башлык башлыку на ходу, мерзлыми рукавицами размахивая, твердили пароль.

За день все понемногу подошли, со всех концов города.

Пешком появился Соломон, еврей с кривой горбинкой на носу и выпуклыми базедовыми глазами. Сразу на раненого буре набрел, прочел записку на животе о том, что бур дышит, тронул его, прислушался и тут же, не снимая пальто, стал ковырять перочинным ножиком. Ковырял, ковырял и доковырялся: бур задышал, а Соломон, постояв немпого, улыбнулся, не то удивленно, не то радостно, но вдруг нахмурился, отошел и лег на ближайший диван, шапку натянув на уши.

На пзвозчике подъехали Лесничий и Васенька — Лесничий с воблой, Васенька с короваем; Васенька беззаботно напевая, Лесничий мрачнее лешего, и воблу швырнул сразу в качалку на колени Рашели.

Зину Киркову, девушку в очках, в высокой серой мерлушечьей шапке — из тех, что круглый год носили когда-то актеры малороссийских трупп и скупщики лошадей, — сутулую, в сафьяновых цветных сапожках из реквизита городского театра, кто-то в оленьей дохе примчал на шпирокобедрых саних с медвежьей полостью.

II

А дед Маркус Петрович, лысый, апостолообразный, как всегда, пришел с ворохом газет и бумаг, как всегда, пройдя мимо вещей, не поглядев, куда его судьба заново закинула, мигом умудрился чернила раздобыть, засел за столик, прямо против уменьшительного зеркала, — и отразился на зеркальной поверхности крохотный рыбарь Петр, ловец чело-веков, в старом порыжевшем свитере.

III

Заскрипело перо, заскрипело — будет человечество счастливо, — должно быть, будет человек горд, смел и свободен,

орлом станет человек, а темная закандаленная земля — вольным безоградным лесом.

В обед Яшка принес деду ячневой каши и воблы кусок.

Пожевал дед — и тот, что в зеркале, тоже губками пошевелил и тоже на бороде оставил немного каши и две — три чешуйки.

О опять побежало перо по старым бланкам военно-промышленного комитета: будет человек вольным богом, грянет вторая, пятая, седьмая революция — пусть, пусть! И кровь не страшна и дым пожаров: кровь — дождь, за дымом — огонь очищающий, вся скверна сметется.

А в десять часов вечера, как водилось по коммунальному обычаю, Яшка повел деда к постели: ботинки с него спить и, между прочим, брюки — нагнаться дед не мог, сахалинское наследство не позволяло.

На следующий день Развозжаев перевез Серафиму и ребенка.

Совсем осатанела вьюга, в комок сжала Красно-Селимск, всех заставила молчать, а Серафиму не смогла.

— Отпусти меня, — просила Серафима по дороге. — Дostaнь для меня пропуск и билет. Не могу я больше. Христом-богом прошу: отпусти.

Развозжаев молчал; осыпанный белыми звездами, темнел, прямо глядя, сквозь снежную густую сеть, сгибался и оседал.

IV

К вечеру, как в незабвенное для Цимбалока время — в дни «гала-экстренных программ» — вспыхнули все лампы Папоптикума: и розовая — романтическая — над Клеопатрой, и фиолетовая — эффектная, — где скалил зубы араб в бурнусе, будто сорвавшийся с табачного плаката, и зеленая — драматическая — над Рашелью, полулежащей

в качалке, и потаспные — там, где блестели вогнутые, кривые, уменьшительные и увеличительные зеркала.

Все лампочки воспрянули, вывели Спасо-Кудринскую из белого столбняка, кое-кого приманили к себе, одна беспокойная фигура, в малахее и ромаповском полущубке, даже руку в карман сунула, и пес один, тощий, как прошлогодняя вобла, в пятнах от безработицы, на крыльцо взбежал, царапая дверь.

А в боковой комнатке, в бывшем директорском кабинете с grosбухом, с папками, с разноцветными афишами о близнецах, приросших друг к другу, о женщине-рыбе и девочке из Оберланда с тремя головами, сбились в кучу человек-кожа-да-кости Збойко, лилипут, Маргарита и сам Цимбалюк.

Растрепалась фальеровская борода, благородные брови понурились, а лилипут сложил игрушечные ручонки и замер комочком у ног плачущей Маргариты: только что Збойко доложил, что на ящике с древними монетами хлеб режут и чай пьют, что Рашель сбросили с качалки, около зеркал дрова пилат, и, может-быть, даже и колоть начнут, а когда рассказывал о хлебе — упорным, несытым взглядом не отрывался от дверей.

И напрасно Цимбалюк отчаянно крикнул ему: — «Шкура продажная!» — человек-кожа-да-кости не ушел из Паноптикума, вместе с правомочными владельцами, не потопил заодно с ними в снегу, не зашутался плечо о плечо в холодном клубке зашнурованных улочек — остался, Яшкой Безруким взятый «курьером», немпого погода Лесничим зачисленный в коммуны, дедом приобщенный к анархизму-эгоцентризму. Дед худобы его не разглядел, — сам дед был худущий; что ушкуну перед ним — не догадался, потому что дед каждого человека считал ушкунмом, а в то же время от всех людей, от всей близкой боли, отгораживался крепкой,

крепче кирпичей и камня, стеной из книжных черных строк.

И дед сказал, шурша бумагой, сизым от старости носом поклеывая книгу, что к великой идее в конце концов придут все, что пового сочлена, нового борца за освобождение индивидуума от цепей коллектива он приветствует во имя грядущего, и грядущее это не за горами, оно приближается, оно близко, и не остановить его.

А Яшка дал ему поестъ; покормив, пересчитал все его ребра, позвоночник изучил, на свету руку его разглядел, для чего нарочно свечу зажег, остолбенел и, насквозь пронзенный изумлением, немедленно предложил свою дружбу.

И сразу Яшке веселее стало, сразу два приятеля: человек-скелет и заводной слон, один запятнее другого. Две утехы: для дня — живой скелет, который может в любую щель пролезть безнатужно, перегнуться пополам без хруста и голову, как шиш, промеж ног просунуть; для вечера — слон с подвижным хоботом, вверх-вниз, вправо-влево, — тонкая, отменная штука

— Буржуазная дребедень! — буркнул Лесничий, увидев игрушку.

Туп-туп, — постучал молоточек, — и у Лесничего зашевелилась улыбка в лохматой бороде, а Яшка еще бойчее пружинку завел.

Вот «туп-туп» — постукивает молоточек, и покачивается палатка, и шагает слон, лапу за лапой переставляет, и хоботом шевелит, и егозит вожатый — шоколадного цвета человек — Махмутка.

Доволен Яшка — зимним вечером, когда почти все в разброде, а он остается дежурным, оберегающим групповое добро и мальчишку Серафимы. Ложится животом на койку, никнет к полу, подталкивает Махмутку и ухмыляется — «туп-туп» — Яшка Мазников, ставший «безруким», руку

потерявший в бою под Царицыном, Безрукый, убежавший дерзко и смело из казачьего плена, прямо из-под пули, когда другие пленные уже дарапали в последних предсмертных судорогах сырую окровавленную и, как-будто, чужую — не свою — вражескую русскую землю.

«Туп-туп» — от Гжатска через Царицын, Каспий, Кубань и башкирские степи к коммуне, к тиши сонной красно-селимских зимних вечеров, к ёгоцент... — и не выговоришь, по дед знает, как надо промолвить.

«Туп-туп» — от станového, мимо Гиценбурга, Керенского, Ригой, Варшавой, мимо Троицкого, Врангеля, деда Мариуса Петровича к Махмутке.

Пружинка разворачивается, сворачивается и снова разворачивается.

V

Рашель лежала на полу (качалку облюбовала Зина Киркова) лицом кверху; нос крючком заострился, к сумеркам точь-в-точь как у мертвой.

И в немой скорби пять — шесть минут, пока света не зажгли, постоял над старой — новой — покойницей бывший директор Цимбалюк, подкравшийся тайком, смявший в горести и страх и трусость. И поплакал бы, да вблизи шаги раздавались, и на колени бы встал для последнего прощания, но не разогнуться потом придавленному, коленопреклопленному в смертельной обиде.

И задом — к стенке, все ближе к стенке — отходил Цимбалюк, а нос Рашелин все выше и выше поднимался, с укором.

Все вновалку легли: и Рашель, и Марья-Аптуанетта (вторично обезглавленная), и самоед с колчаном, монеты потускнели, зародыши в банках осунулись, зеркала затуманились, а живые в кабинетике не знали, как им с ногами

своими, руками быть. Лялицут в одном углу полежал — в другой переполз; запылился крахмальный воротничок, голубенький галстучек, такой нарядный дня два тому назад, тесемкой обернулся, и горошинки сморщились. Маргарита по ошибке за левый бок хваталась, а пылю-то и жгло в правом, Цимбалюк плакаты в трубку свернул и трубкой тихонечко-тихонечко стучал по столу.

Тихонечко, когда хотелось молотком, молотом колотить и кричать, кричать без устали, без передышки о том, что проклинает он революцию, что уродец с раздвоенной головой единственный, кто мил и дорог ему в проклятой России.

Потру Збойко в дверь просунул вобла на веревочке — Цимбалюк дькнул.

Збойко дернул веревочку — и вобла отпрынула.

— Хриstopродавец! — крикнул Цимбалюк; лялицут сжал ручки и всхлипнул.

Часа в три стали дрова рубить, зеркала задрезжали — с трубкой наперевес кинулся Цимбалюк в залу и налетел на Лесничего, хмурого и волосатого.

По-бабьи скулил Цимбалюк, потом долу клопился, потом трубкой потрясал — последним знаменем уцелевшим, потом божьим гневом грозил.

Но не боялся божьего гнева волосатые, да и всякого, потому что сказал Лесничий, будто ему на всех наплевать, даже на самого главного с портрета, если Цимбалюк доберется до Москвы и пожалуется Цику, и законов никаких он знать не хочет, кроме одного, что называется «Я» и пишется с прописной буквы.

Не разрешил Лесничий вывезти фигуры, зеркала и молоты, только позволил взять носильные вещи да из постельного пемного — и нагрудился Цимбалюк до бровей, и Маргарита согнулась под узлом, и Егорушка свою

корзиночку с галстучками и цветными манжетами поволок в неизвестность, в пространство — и себя туда же.

Но на дороге попался им трехаршинный не унывающий Васенька и с палету, как всегда, как во всех случаях своей стремительной и не оглядывающейся назад жизни, порешил судьбу лилипута.

VI

— Это что такое? — протянул Васенька и пальцем ткнул в лилипутские плечики.

А минуточку спустя он заливался в коридоре:

— Соломон! Соломон! Иди сюда! Соломон, у меня замечательная мысль! Соломон, этого маленького человечка мы оставим у себя.

И, схватив Егорушку за шиворот, он пушинкой поднял его с полу.

— Человек, мы все человечество хотим поднять на высоты. Мы и тебя поднимем.

Егорушка заболтал, взлетая, желтыми ботиночками, Маргарита ахнула и уронила узел.

— Господи!.. Товарищ! — испугнул лилипут. — Господи товарищ!.. — и, закрыв помертвевшие глазенки, свесил головку с гладеньким, редешьким пробором.

— Дурак! — тихо сказал Соломон. — Чем мы будем кормить его? — и презрительно выпятил толстую негритянскую губу.

Нырля в сугробах, уходили Цимбалюк и Маргарита; Маргарита стояла и порывалась бежать назад к Паноптикуму, но Цимбалюк передним узлом толкал ее в спину.

Падал, падал снег — небеса что ли прорвались? — и все крыл да крыл и все к земле давил да придавливал вчерашний царев, а сегодня красный город.

Белый город — все белым-бело.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

До Рождества еще кое-как держались красно-селимцы, даже позволяли себе изредка и о гусе помечтать, не очень серьезно, с усмешечкой, будто в шутку, но все же мечтали в чаду дымных своих печурок-самодлоков; на печурку ставили утюги и поливали их водой, чтоб пар шел и мешал комнате, жилью, углу, конуре обратиться и тундру сибирскую.

А город-то, весь собранный в одно, с церквами, с кладбищами, с заколоченными магазинами, с безработными монахами, с пролеткультом, с ребятишками в фурункулах от недоедания, с памятником Лассалю, с подпольным базаром, с севера, с запада, с юга и востока окаймленный мертвыми бесплодными полями, тундрой, давно уже растянулся и давно уже прочерпи его застыли в голодном студеном оскале.

Крепко, точно навеки, до светопреставления, до труб архангелов — и Новый Год не разомкнул костлявых челюстей, даже еще крепче сдвинулись зубы.

А после Крещенья стали собак убивать: охотились за псами, суками и щенками — по одиночке, по своему умению и согласно своей разведки, и группами. Председатель домового комитета на Горшечной собрал ударную группу, с паевым взносом на текущие расходы и канцелярские принадлежности. И на Мещерской другое сообщество возникло, все из бывших ратников ополчения второго разряда.

И под первым ударом ополченцев пал бесславной смертью дряхлый, в сизых подпалинах фокстерьер контр-адмиральши Копрошматиной.

Вдогонку пошла сама Копрошматина; все она перепесла: и разорение, и расстрел мужа, и смерть сына-корнета, по пикам чернотным угаданую и раскрытую за два фунта

сушеных грибов, но казни Фокстерьеровской не выдержала — опрокинулась навзничь и успокоилась навсегда у печурки, возле горшка с недоваренным горохом.

В Паноптикуме доели последний коровай.

Яшка собирал корки и, густо посолив, сушил их над плитой. Лесничий метался по городу: он ведал хозяйственной частью, кормил братию, а себя тайком поддерживал маленькой дозой спирта, совсем крохотной, чуть ли не с наперсток, но без которой дня бы не прожил. О «пороке» его знал только Соломон и советовал не сентиментальничать, помнить о своем мужичьем происхождении, не корчить кающегося дворянина, ублажать вольную крестьянскую душу, тупо не бичевать себя за каждый глоток и пить, пить, сколько хочется и...

— Сколько дают, сколько можешь раздобыть.

— Выпьем со мной.

— Я не пью. Я пьян и так.

— Не валяй дурака. Каким манером?

— По-еврейски, — отвечал Соломон и хихикал. Все в нем тогда хихикало: и губы, и кривая горбинка, и даже базедовые облупленные глаза — хихикали, зная почему, по-сменвались, зная над чем.

А волосатый Лесничий, от первой рюмки опьянев, в углу своем, под Клеопатрой в золоченой раме, горестно казнил себя и давал себе слово не позорить впредь честного имени анархиста-эгоцентриста.

II

Первую залу, без зеркал, не отапливали, была она в стороне, у дверей сторожил самоед с колчаном: ему не при-
выкать стать.

За самоедом войлочный тюфячок, а на тюфячке Егорушка, а на Егорушке воротничок в три пальца шире стал:

поднимет Егорушка голову — и шея вихляется. На самоееде одежда теплая, правда, молью изъеденная, но мехом поверху, и если прижаться к ней крепко-крепко, за колчан удешившись, то теплотой попользуешься и Маргариту увидишь, не очень ясно, будто сквозь дымку, но все же воочию увидишь.

Еду Збойко приносил, в колчан Егорушка остатки прятал: на ужин и для раннего утра, пока Збойко вспомнит.

Второй день пуст колчан.

III

Лесничий побывал повсюду; по-честному о спирте не думал, старался насчет хлеба, сахару и прочего, входил без доклада туда, куда следует с докладом, в одном месте спорил, в другом дерзил, в третьем был мягок и убедителен, а вернулся належке.

— На нас косятся, — сказал он Васеньке. — Ни черта не дают. В Москве анархистов взяли. Нас тоже, говорят, возьмут.

— Зато будут кормить, — молвил Соломон — и принялся за прежнее: стоя перед увеличительным зеркалом, высовывал язык и глядел, как он, серый, с палетом, растет, увеличивается и всю комнату заполняет.

А Васенька закричал, что стыдно эгоцентристу зариться на казенную кормежку, когда надо быть гордым, смелым и переворачивать мир.

— Мы и перевернем, — не торопясь ответил Соломон, глазом одним косясь на другого Соломона, уходящего головой в потолок, в бесконечное пространство. — Хорошенько поголодаем, придем в раж и пойдем на Совет. Мир нашей хижине и смерть комиссарским дворцам. Возьмем власть в свои руки, а тебя, Васенька, назначим генерал-губернатором анархии.

Васенька плюнул, сказал презрительно: — Катастрофический дурак! — и побежал на мыловаренный завод, где у него ячейка была, в ячейке пять рабочих и один конторщик. Рабочих не застал — за мукой уехали; конторщик, кутаясь в женин платок, спросил: — Когда же начнем? — и сунул два куска мыла — на поддержку.

Лесничий до вечера шваркал сапогами, из комнаты в комнату переходя, и сучил неистово чащеобразную бороду: анархия — анархией, рундучок Развозжаева — рундучком, но без каши для деда не обойдешься, дед без вечерней каши — как рухлядь: обмякнут, никнет. И есть еще больной мальчишка, у кого ножка вывихнута, в лубке, и мальчишке без молока зарез. В Москве анархистский особняк обстреливали, мир, вселенная задрожит в великом смятении, разрушении и созидании, а как из красно-селимского продкома синий заветный ордер получить?

Дед говорит, что единица — все, а коллектив — стадо, и надо, надо, чтобы единица, интеллектуальная единица, выход пашла; у каждой такой единицы на плечах источник могучей силы — голова: хочешь — светом озарит, хочешь — тьму кромешную наведет.

Еще вчера дед читал с листочка: «Во мне, единице, та знаменитая точка опоры, которую мир тщетно искал тысячи лет, не знал Архимед, но узнали мы, и всей солдатчине стада человеческого не стереть простого чертежа, который...»

И побрел Лесничий к Зине Кирковой, к доброй приятельнице человека, у кого все ордера, все склады и все красно-селимское существование в кармане кожаной куртки, в записной книжке.

Направился в женский уголок, туда, где возле постели стояли сафьяновые сапожки, когда-то отлясывавшие мажурку на польском оперном балу, а Зина решила, что старые времена вернулись, что опять прильнет косматая голова

к неутолимой тощей груди, и откинула одеяло, в темноту протягивая обомлевшую руку.

Но после двух — трех слов Лесничего, в женском углу, в том углу Паноптикума, где тиролька у стены приткнулась, где пахло яичным мылом, и на столике, рядом с растянутыми старыми подвзсками, вокруг сломанного полузубастого гребня обвивались клубки вычесанных пепельно-плоских волос, послышалось со вздохом:

— Хорошо, товарищ, я завтра переговорю.

IV

Дед говорит, что коллектив — слепая спла, а единица — светлая, творческая — и да будет в центре всего его, я.

И долго, глаз не смыкая, плакала, ноги поджав, все тело собрав в комок, Зина Киркова, зряче плакала, а света — света не было: ни кругом, ни в душе.

И быы еще один женский угол, и там ночь за ночью, много ночей под ряд, другая женщина, степная казачка с бровями дугой и напорной волей, натянутой как тетива — вот-вот сорвется стрела и полетит — твердила Развозжаеву:

— Я ненавижу тебя. В степь хочу. К ковылю хочу. От рож, от кукол хочу на простор. От твоих некулёмых, от тебя самого тошно мне. Ненавижу тебя. Вот как раньше любила, как раньше за тебя всю себя резала бы по кусочкам, — так теперь ненавижу.

А Развозжаев молчал, но не клонил шишковатого лба со шрамом поперечным, и когда, переполнив душу до краев ненавистью, исцемленной тоской и сухим гневом, засыпала Серафима, упорные несытые губы не размыкая даже во сне, точно и в дреме всегда настороже, Развозжаев медленно уходил к себе: к постели своей, к станку типографскому, пока бездеятельному, и к сундуку. Отбрасывал крышку сундука, снимал старые газеты, отгребал тряпки и всматривался:

мирно лежали друг возле друга, как плоды нездешние, из дальних сторон вывезенные, бомбы.

Швырнуть одну с колокольни, за ней третью, пятую — и не станет Красно-Селимска, огненные кони задыбятся, на огненных колесах страшная весть понесется в Питер, в Москву, в Лондон, в Рио-де-Жанейро, — и ответный вихрь полыхнет, опоясывая весь земной шар, полюс с полюсом сталкивая, тропик на тропик взгромождая.

— Ты глуп, Антуан, — проговорил Развозжаев и по средней бомбе постучал согнутым пальцем; на шишковатом лбу скрестилась со шрамом тугая, злая морщина.

За стеной, поверх Марип-Антуанетты без головы, зародышей, араба, деда Марнуса Петровича в клетчатых кальсонах, сумасшедших зеркал, ни о чем не ведая, ничего не предугадывая, устав от собачьей охоты, от очередей, хвостов, от сапочек, от комиссий, от приемных, натрудившись в беличьем колесе дневного верчения, дневной сумятицы, дневных пререканий, изныв в вечерней тоске, вечерней настороженности, вечерней заводи, дремали, спали и в снах, отображающих ту же дневную оторопь и ту же вечернюю жуть, ворочались на своих постелях и тюфяках красно-селимские ополченцы второго разряда, нетрудовые единицы, отсталые кооператоры, управделы, председатели домовых комитетов, попы, лавочники без лавок, бывшие коллежские, титулярные, спецы, счетоводы, матери кормящие, матери не кормящие, хозяйки по трудовой книжке, хозяйки-обломки, беглые солдаты и машинистки от ремингтона.

V

Яшка первый сказал, что надо кукол раздеть и барахло на базаре спустить: вот перед атакой коня не так оседлаешь, артачится зверюга, а ремень ослабишь — и опять конь коном. Сказал Яшка, что ремень туго затянут, что не

пропадать же, когда фураж под руками, — и Лесничий пошел к Соломону за советом.

У Соломона на печурке два утюга жарились, в одной руке у Соломона томик французских стихов — не то Верлен, не то Малармэ, в другой — чайник с водой, словно лейка.

И, воду изредка поливая на утюги, точно сад свой заветный орошая, вслух читал Соломон, в нос пропуская, будто в трубу для прочистки. Шипела вода, пузырьки вскакивали, шибко, шибко кружась, пахло баней.

— Референдум устрой, — посоветовал Соломон.

— Ты — за? — спросил Лесничий.

Соломон поднял ногу, потом другую.

— Вуй, дважды.

— И Антона спросить? — съезжился Лесничий, в бороду вцепившись.

— Трус! — закричал Соломон. — Русская рабья душа. Эгоцентрист, а все-таки перед начальством трепещешь, — и весь чайник опрокинул.

Ошарашенная, жестяно взвизгнула печурка, пар рванулся, Малармэ в пару утонул, а базедовые глаза хитро захихикали — глаза с издевкой, глаза Соломона Бриллера, бывшего кандидата в духовные раввины, в пастыри душ евреек с париками, евреев в длиннополых кафтанах, бывшего меньшевика, бывшего приват-доцента лозаннского университета, сына прославленного дядика из Лиды.

Глаза па выкате — сверлили талмуд, бога, зачинателя единого, просверлили, отвергли, покрыли Малининым и Бурениным, русской грамматикой и, протаранив мироздание, уперлись в банки с зародышами. Глаза облупленные — все вылущено, все скорлупки отброшены, — лозаннская кафедра и утюги на печурке, Бергсон и раненый бур, который дышит, сдвинутый с осц, расколотый надвое мир, и вобла, обмененная на бурнус араба, — лейся, лейся, вода, на утюжки,

фыркай, доморошенная печурка тысяча девятьсот девятнадцатого года все пар, все в пару.

Васенька, вопреки обычаю своему, не одерился, кнутовищами-руками не замахал, а очень тихо, уж слишком покорно, ответил:

— Продавай.

Развозжаев, на счастье Лесничего, уехал — никто не знает, для чего, куда и когда вернется. Зина Киркова, мучаясь по женской части, только головой мотнула и под шубу уползла опять, чтоб от боли несохватной снова вопросительным знаком по постели ерзать.

А дед, весь в черпильных пятнах, даже на лысине, ручку — пером к себе — в рот сузил и, подумав, велел половнику выручки оставить на фонд пропаганды.

Раздевали Збойко и Яшка.

Разоболокли Марию-Антуанетту, помаялись с Рашелью — упорная еврейка не сразу далась — все носом отбодрялась, сняли с бура красноармейские обмотки, тирольку оголили, араба обесчестили.

К самоеду прилип Егорушка — утром прибег Збойко, преподнес заплесневший ржаной сухарь, последний, и лилипуту сказал, что на базар кукол поволокут.

Самоеда взять — Егорушку докопать; в году для лилипута, как и для всех прочих, те же 365 дней, и на тридцать седьмом лилипутском году так же страшно лишиться последнего, как любому двухаршинному, а где Маргариту найдешь, как найти ее, как по снежным перебродищам, не затонув, добраться, как разыскать ее, не запутавшись в белых незнакомых разулочьях. Самоеда взять — Егорушку в порошок стереть. И — сюртучок на все пуговицы, а шея, шея вхлается в просторном воротнике, тюфячок скатан, ручки стиснуты в гневливой решимости — грядите, рудо-желтые аспиды, волосатые черти!

Но про самоеда забыли, а может-быть человек-кости-да-кожа по-человечески усовестился и не напомнил.

И телогрейка самоедская осталась, молью попорченная, и колчан тоже — пустой.

Всех разделл.

Тиролька ахнула: «О, mein Gott!» — и румянцем немед-ким зарделась, араб отвернулся и копы на два дюйма в пол вогнал, бешеный араб с коробкой «покупайте гильзы Кат-тыка», Рашель презрительно повела носом в сторону наглой галерки, а Мария-Антуанетта хватилась было за голову, но во-время вспомнила, что головы давным-давно нет, и уронила точеные руки, бур вздохнул и по-солдатски завалился спать.

Брест-Литовск горел попрежнему, на Аркольском мосту прядал конь под корсиканцем.

Серафимин мальчишка Шурка, с пожкой в лубке, тихонечко каночил и просил сказок, Серафима прислушивалась к каждому шороху: не идет ли Антон.

Эх, как завивается в вольной степи вольный ковыль! — в трубе воет проклятый красно-селимский зимний ветер, два коршуна — две брови — сошлись, сдвинулись над потемневшими глазами: будет час, взметнутся, сорвутся и унесутся прочь — ковыль, ковыль, расступись, прими, укрой.

— О-ох!..

VI

На базаре Яшку арестовали: за хищение и продажу национального имущества и предметов военного снабжения, обмотки тож.

На базаре вертелся Цымбалуок, Маргарита рядом с лукош-ком, а в лукошке полтора пирога и два сахарных квадра-тика. Тиролькину безрукавку Цымбалуок сразу узнал, и от безрукавки все началось.

Яшка единственной рукой сгреб милиционера, потом другого, третий вдогонку со стрельбой, Яшка зигзагами в бег, по-военному, но под ноги кинулась Маргарита, под ноги, всклекотывая, под ноги — за зеркала, за монеты, за лилипута, за Альфонса Матэ.

И по снегу, по тряпкам, по юбкам, по распластанным штанам покатилась живая груда тел, шинелей.

Часа два спустя Лесничий стоял перед Мариусом Петровичем, облачал его в пальто и торопил:

— Дед... Скорее в Совет. Ты старый каторжанин, к тебе с почтением. Скорее... Нехорошо, дед, вышло.

На Большой Болотной, и на Горшечной, и на Малой Болотной заколачивали ставни: бунт на базаре, анархисты власть берут; ратники второго разряда солили собачину, впрок, запасаясь.

С дедом провожатым отправился Васенька — и оба застряли. Лесничий поклятым по комнатам бродил, от кукол шарахался — подвели куклы! — от кукол отплевывался — проклятые, проклятые! А к вечеру застыл комелем у печурки Соломона.

Соломон, по-американски ноги задрав, сидел на кровати и тпнул по слогам:

— Па-ноп-ти-кум... Па-ноп-ти-кум... — толстые негритянские губы посмеивались.

В Чрезвычайной допрашивали Яшку, Цимбалюка и Маргариту; Маргарита Яшку за кушак тянула и всхлипывала:

— Куда моего мальчика дели? На что Егорушку оставили себе?

— Брось, портомойница! — огрызался Яшка, свесив голову...

Поздно вечером приехал Развозжаев, — а может-быть и пришел, дорог ведь много: и пеших, и конных, и рельсовых.

В полночь привел деда и Васеньку, собственноручно сварил деду кашу из остатков ячневой, помог ему раздеться, а во втором часу ночи окликнул Лесничего и попросил созвать всех на заседание.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Заседали у деда в комнате, чтоб деда заново не поднимать, в зеркальной — с вогнутыми, кривыми, увеличительными и уменьшительными. Соломон глистой вытянулся, в версту, Лесничий грибком стал, у Зины Кирковой вкось и вкривь поползли щеки, уши, брови, а дед распух, в ширь пошел, по зеленой подушке, похожей на стог сена.

И Збойко позвали: скромненько встал у ободверицы кожа-да-кости, точно на ремешке удавленник повис.

— Новый? — спросил Аптон, по Збойке равнодушно скользнув сухим взглядом, будто по стеклу ножом провел. — Объявляю собрание открытым.

— Виповат, — поднял руку Соломон. — К порядку дня. Не все в сборе. Предлагаю позвать остальных.

— Кого? — не оборачиваясь, спросил Аптон.

Приподнимаясь, Соломон облизнул губы:

— Прежде всего, малых сих — прежде всего лилипута.

— Какого лилипута?

— Самого обыкновенного двенадцативершкового.

— Откуда он взялся?

— Оттуда, что и мы: из недр. А затем: всех кукол, как вполне правомочных и дееспособных членов общества.

— Довольно, — вскочил Васенька и навалился на стол. — Это чорт знает что такое.

— Подожди, Вася, — тихо попросил Антон. — Я тебе слова не давал, — и глубоко заглянул в базедовые глаза.

И глаза не отвернулись, только чуть-чуть шевельнулись на миг, чтоб потом снова округлиться и застыть, не то в пасмешке, не то в боли.

Лесничий хихикнул.

— Сосна, дубина, бук, — повернулся к нему Соломон, — смеяться нечего, я серьезен, как никогда.

Антон встал.

— Я голосую, — спокойно сказал он и на каждого поочередно глянул. — Кто за предложение товарища Соломона?

— Я протестую, — метнулся Васенька. — Мы на краю гибели, а Соломон дурака валяет.

— Товарищ председатель, — протянул Соломон. — Прошу оградить меня от незаслуженных оскорблений. В дни великих потрясений каждый вправе внести любое головокружительное предложение, а я вношу элементарное, самое обыкновенное предложение. Я ведь не предлагаю Васеньке взять себе в жены ту куклу, у которой шелка сбоку. Я только...

Васенька сорвался с места:

— Я ухожу!

— Я голосую, — невозмутимо повторил Антон. — Вторично: кто за предложение товарища Соломона? Один голос. Предложение отвергнуто. Заседание продолжается. На очереди: сегодня четверг, в воскресенье к 12 часам ночи приказано очистить помещение. Никаких отсрочек. Занять новое запрещено — не допустят. Якова не выпускают. Не уйдем — нас окружают и заставят. Что мы предпринимаем: уходим или защищаемся? Что делать: взорвать Чека, Якова освободить, или в Москву, в разные концы? Я... я привез немного денег, на разъезд хватит всем. Итак: мы разъезжаемся или остаемся? Я за второе: Яшку вызволить, здесь засесть и до конца... Дед, слово за тобой. Вася, тише!

II

Уже спали все, и уже давно успел дед запротоколировать решение группы в назидание и для своего пятитомного труда о «Человеке-центре», когда Антон лилипута разыскивал.

Спичку за спичкой жег, куклу за куклой позади себя оставлял — шаг тяжелый за шагом медлительным — и нашел, за самоедской спиной на тюфячок наткнулся и последнюю спичку — факелок ненадежный — подержал на мгновение над крохотным тельцем.

Тьма — и потонули в ней лилипутские кулачки и другие, узловатые, крепкие, большие, внезапно сжавшиеся, стремительно, точно ухватили долгожданную добычу, ухватили и уже никогда не выпускают.

Тьма — и скрылись в ней личико с блюдечко, сморщенное, осеннее яблоко, и другое — скуластое, напорное, вдруг с налету прорезанное недоброй улыбкой.

Тьма — и темень за окнами и в душе.

III

На рассвете человек-кожа-да-кости исчез: плоско проскользнул черным ходом, костлявый, пролез в узкую щель, а мог бы сполна дверь распахнуть, и плоским пятном мелькнул по двору.

Утром Лесничий тщето кликал: ни кожи, ни костей и самовар холодный, в Яшкиной комнате, она же и Эбойки, постель не тронута, даже не примял ее за ночь обомлевший скелет, заводной слон мерз у окна, черный Махмутка по слоновой башке не дубасил, дремал, и в дреме морозной мертво сплющивалась по реомюрным делениям тропическая

душа — на Яшкино, на-безрукое счастье последний из княжеских слонов.

Лесничий ввалился к Соломону.

— Сбежал курьер. Вот тебе и номер.

Соломон высунул из-под одеяла курчавую, в перьях, макушку:

— Правильно. Удирай и ты. Тот по трусости, а ты по-умному.

А немного погодя, когда уже одетым был и у печурки раскаленной пил, обжигаясь, горячую зеленоватую бурду, говорил:

— Уходи, Лесничий. Я тебе серьезно говорю, — и на ладони протягивал Лесничему огрызки леденца, угощая щедро. — Плечи у тебя могучие, сам ты, как дуб столетний. Здесь мелководье. Здесь культурный образ действий — скука: пу, разорвется бомба, пу, вторая. Удирай!

— Куда?

— Идиот! — закричал Соломон. — Много в России лесов?

— Много.

— А начальство над собой ты любишь?

Лесничий ухмыльнулся и врякнул.

— Беги, беги, зверюга. В леса, в дебри — русская зверюга в русские леса. И бабу с собой не бери, упаси боже. Лесные Зинки — малина, здешние — раздавленная смородина. Ах, если бы мне твой рост, твой нос луковицей! Твой истинно-русский нос, твоё великолепное курносое национальное украшение!.. За таким носом пойдут без оглядки.

И опять на уютжки опрокинулся чайник, и снова в душном паре потонули базедовые глаза — уже не хихикающие: тоскующие.

— Уходи! Уходи! — п толкал Лесничего к двери.

Лесничий, недоумевая, упирался.

— Да что ты... Да что ты... — смущенно бормотал он, конфузиво, а уж плечами поводит — грудь колесом — и уже ноздри ширил, раздувал, точно по тропам запутанным вынюхивал дым костерный и — сквозь запах смолистый, вековечный — запах людской, краткоденный.

В обед Зина Киркова потребовала вторичного собрания, подав Аптону заявление: «Настаиваю, чтоб наше решение было пересмотрено. Сегодня «Красно-Селимские Известия» сообщают, что в Испании кресчендо нарастает анархистское движение. Бессмысленно умирать тут, когда мы там нужнее, как активные единицы».

— Никаких собраний! — вопил Васенька и точно на дирковых ходулях шагал, трехаршинный, островерхий, по комнатам, сотрясая зеркала, в дрожь кидая оголенных, пришибленных кукол. — Решено — так решено. Мы сражаемся, мы не сдаем позиций. Стыдно на попятный.

— Я обожаю испанок, — сказал Соломон. — На собрание! На собрание!

У себя в комнате Лесничий ладил дорожный мешок — побегут, завьются, помчатся, понесутся зеленые дорожки, зашумит, закачается, загудит чащоба лесная — мать родная, мать ничья и всех.

— Кто идет?

— Лесничий.

— Пароль?

— Вольница.

— Проходи! — коня водком, лесом да лесом, шальгой по коню «айда!», не конь, а сущая шишига, пена, храп — и полем, и степью, все напрямик да напрямик — птицей, вольной волей, волей неизбежной.

Из рук выпала на полстежке толстая игла: Лесничий загляделся, улыбаясь, а улыбка в бороде, точно луч ранний в хвойной гуще.

IV

Днем дважды Антон навестил лилипута.

В первый раз молча постоял перед ним, только оглядел его пытливо, точно мерку снимал; лилипут одернул скортучок, дрожали ножки в крохотных брючках; а во второй — принес поесть.

Егорушка насутился и отвел тарелку.

— Ешь, — предложил Антон и взял его за плечо.

Лилипут дернулся и повалился на тюфячок; стариковский, под реденькими волосами, бледно-розовый затылок, шевелись, замирал постепенно.

Антон нагнулся:

— Что ты? Не бойся, — и на колени встал. — Я не медведь. Как тебя зовут?

С тюфячка балаганным Петрушкой пискнуло:

— Егор.

— А сколько тебе лет?

— Тридцать семь.

Антон вскочил и захохотал.

Долго смеялся, очень долго, но глаза не смеялись, да и морщина тугая со шрама не сползала, а Егорушка все глубже и глубже зарывался в тюфячок; будь Маргарита тут — на руки взяла б, к правому сердцу прижав, унесла бы любовно, грея, от страшного смеха, безбожного, а самоед торчит чучелом и не помогает хотя и лилипутскому, но все же живому, растревоженному сердцу.

И тискал, тискал тюфячек — кулачками, кулачками поси-невшими...

Не поступав, Антон вошел к Серафиме. Гудел примус, Шурка спал, больная нога лежала высоко на подушке.

И над Шуркой постоял Антон и тоже оглядел его сверху допизу, пытливо, как вот только что лилипута.

— Потуши примус, — попросил Антон. — Шумит. А я хочу тебе кое-что сказать.

Серафима быстро подошла к примусу и с силой задвигала насосом; натужнее потухнуло пламя, яростнее загудели сине-огненные слепши.

— Назло? — спросил Антон.

Сдвинулись брови-коршуны — знакомые, ох, до боли знакомые, черные, злые птицы! — и без слов промолвили: не о чем говорить.

— Есть о чем, — сказал Антон и отвернул винтик.

Тихо стало, Шуркино дыхание явственней, и другое — порывистое, под серым платьем.

— Я тебя отпускаю. В воскресенье вечером лошадей подадут, в десять. Поезд в двенадцать. К одиннадцати будешь уже на вокзале.

— С Шуркой?

— С Шуркой, — ответил Антон и усмехнулся.

Стукнуло о пол: Серафима на коленях не то плакала, не то молилась.

Так и прошла мимо усмешки Антона, не заметив ее, да и как заметить, когда глаза — голубые озера над мертвой зыбью — впервые за долгие дни всколыхнулись, немеркнувший свет увидев, неизреченный.

И — вой, вой, без устал, треклятый красно-селимский зимний ветер, а все же завьется, завьется шелково серебрино-кудрявый ковыль, расступится, родимый, примет, укроет.

— Рада? — спросил Антон, и голос его дрогнул; на миг, но дрогнул.

И брови-птицы встрепенулись в ответ: хищно-откровенно и радостно.

V

До вечернего заседания не дошло, и первоначальное решение отпало: завечерело, когда Лесничий ушел из коммуны.

В зеркальной он поклонился на все четыре стороны, точно странник родным могилам перед дорогой богомольной и длинной, облобызал Соломона, буркнув «спасибо», и — поминной как звали; кудластую голову, ноги как корневищи, и плечи как оглобли — прими, эресеферовский, по-старому неукротимый «большевик», нового путника!

А минут десять спустя возле тирольки, взвизгнув, повалился на кровать очки, цветные сапожки; мерлушечья шапка откатилась — за очками бежали ручки соленные; сафьяновые сапожки носками отбивали дробь.

Тиролька шевельнула ресницами, хотела сочувственно, впервые не заманивая, подмигнуть и не смогла: сбоку в щелке торчал окурочок папиросный, — единственный след Лесничего.

Поздно вечером Зина Киркова сняла свое предложение об Испании, оделась, в город направилась.

Поутру прикатали сани с медвежьей полостью, оленья доха с портфелем сидела в санях, поджидая: Зина Киркова собирала пожитки.

Соломон подошел к окну, в морозном замысловатом узоре просверлил дырку и сказал Васеньке:

— Народный комиссариат продовольствия. Зинка растолстеет.

— Что делать? — спросил Васенька.

По Чернышевскому — открыть швейную мастерскую. Но он устарел. По-мосму — намылить веревку. Твоя мыловаренная ячейка...

— Ты все шутишь, — уныло проговорил Васенька и побрел невесело от окна; сразу короче стал, точно подломилась нога.

Но умели базедовые глаза и ласковыми быть: догнал Соломон Васеньку.

— Глупый ты, глупый ты, Васюк. Вместе уйдем. Я не оставляю тебя, потому что люблю я тебя, Васенька, потому что ты, как галчонок, на все рот раскрываешь. Ничего, Василий, другой Паноптикум пойдем, мир клином не сошелся. И станем мы с тобой от одного Паноптикума к другому переходить. Учиться будем — *studeamus garoticum humanum*. Ты был в Туркестане? Никогда? Я тоже. Едем туда: восточная сартско-бухарская группа анархистов-эгоцентристов, с востока свет. Веселей, Васюк!

И снова ожили ходули: мигом починили их.

Зашагают ходули, не могут не шагать, пока вертится земля вокруг солнца и кажет жадному человеческому взору, ненасытному, то стальную сеть новых рельсов, то дерзновенные горные тропы, то морские разгульные бескрайние дали.

А дед сидел перед уменьшительным зеркалом и все писал и писал.

В зеркале тот же дед, по крохотный, и те же листки, по малюсенькие — квадратки бумажные для детской игры, — но скрипит, скрипит перо, и будет, будет человек во вселенной единым владыкой, богом будет.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

В субботу, вечерним часом, Антон повел лилипута в комнату Зины Кирковой.

За стеной Серафимин угол — слушал Егорушка, как рядом мальчик плачет и жалуется, что ножка болит. Один остался самоед, на холоду; покрепче обмотался шкурой, колчан поправил и с гора затынул песню — свою самоедскую — про тундру.

Антон затопил печку, отогрелся Егорушка; печь не то что мех самоедский, молю проеденный; хорошо и тепло

спать на широкой Зибиной постели, но когда тревожно перебойми стучит сердце, даже и лилипут не спит.

А высокий, хозяин новый, не уходит: сидит перед печуркой, на огонь глядит и все усмехается.

Видит Егорушка сквозь переплет спинки железной, что усмехается: от щепок пылающих бьет в лицо блеснь переменчивая, кругом темно, а лицо на свету, и на лице усмешка.

— Спи, — говорит хозяин, — а я посижу немного. — Хорошо говорит, почти как говорила Маргарита, а усмешка не исчезает.

Так час, другой: лицо освещенное, усмешка, углы в тени, окна запущенные, сизые, щепки трещат.

— Почему не спишь? — спрашивает хозяин. — Спать надо. Завтра в дорогу.

Так другой, третий час: огонь на лице, лицо застывшее, треск щепочный, мальчик за стеной спросонья плачет, а впереди какая-то дорога, неведомая, откуда-то вдруг взявшаяся... Господи боже... с кем это, не с ним ли, скуластым, куда это? — скособочилась головка, бьется пробор взъерошенный о прутья, плачет лилипутское горе.

И — в слезах — жгли они, как жгут и больших, в ком рост человеческий, а не для показа за деньги — и разомлев от давно неизведанного тепла, робкой трепещущей дреме — вот-вот всколыхнется она и убежит от покорных ресниц — все же подставляет Егорушка свое измученное тело.

А проснулся: мрак, тишина, ни хозяина, ни огня, ни усмешки — лилипутский страшный сон.

II

И страшная бесконечная ночь для Антона, пытка неукротимой души, извод — все в эту ночь вместе: куклы, бомбы, лилипуты, Шурка-мальчик, зачатый в сумасшедшую ночь на берегу Кубани, черные брови и черная любовь —

велика ли твоя возлюбленная? В уровень моего сердца, а оказалось — едва по пояс.

Все одним клубком: Яшка Безрукий, каша для деда, человек-бог, человек-труха, зеркала кривые, рожи кривые, барахло на базаре, снег красно-селымский, Кремль московский — орех нераскальываемый, — рукопись деда — завет новейший, третий, евангелие от Мариуса, апостола в клетчатых кальсонах, — и опять лилипут и снова коршуны-брови, — как в темноте путанной, кромешной тонкую ниточку пайти, клубок размотать?

Долга ночь, как скорбь, ночью шаги гулки, старые половицы кряхтят и жалуются обидчиво: не дают им покоя нелепые неугомонные человеческие ноги.

И радуются куклы человеческой казни: учащенно бурдышит и нутром фыркает, Рашель, забыв про оголенность, трагически хохочет, араб копьём крутит.

И зеркала вздрагивают — деда будит Антон. И дед и Антон смутно отражаются, еле-еле.

— Дед, так ты говоришь, что нельзя так? Ведь все позволено свободному. Ты сам учил.

Дед к подбородку притянул рубашку, точно женщина, застигнутая неодоетой, и сказал ночным — с третиной — тихим голосом:

— Не этому учил...

А потом в потемках шарил, ловил руку Антона: — Антон! — тугожилную руку, на которую все надежды возлагал, твердую, как насадка стального кинжала, предназначенную на погибель мировой машины.

А рука не давалась — упорная рука.

— Никто надо мной не усидел: ни бог, ни царь, ни рабочий... Сам я себе власть: ни рабочая, ни крестьянская, ни дворянская — развозжаевская. А Серафима цепко держала... Отыграться хочу.

— Антон! — но ускользала рука.

— Дед, мстить хочется. Развеселое дело месть. Как люблю без оглядки... — люблю, люблю, дед — так и мстить хочется, не оглядываясь. Развернет в вагоне одеяло — Шурку вынуть в тепле, после саней, а там лилипут... Сморщенный, лысый, руки паучи. Хо-хо!

Задрезжали зеркала — тускло блестели, тускло задрезжали.

— Дед... Потом с тобой, с Шуркой... Потом, куда хочешь — Далай-Ламе бороду выщипать. Лондон взорвать...

И перегнулся дед пополам, преодолел сахалинские рубцы:

— Отдай ей Шурку, отдай!

И поймал дед руку и прижался к ней горькими старческими губами.

— Отдай! — и, ослабнув, подалась задрожавшая рука.

Рассвет... Скользит рассвет по зеркалам, спимает с них ночные завесы, а под завесами, на подушке зеленой, что пухнет стогом сена, две головы огромные — прижавшись вплотную: одна лысая, другая русая.

III

Соломон и Васенька шли городом к станции — белый город, все белым-бело. Снег слепил базедовые безнадежно-усталые глаза, рьяно кромсал снег длинноногий Васенька — смеялась над сугробами горячая красная кровь.

IV

Пока сани не затарахтели у подъезда, дед не отходил от Антона. И дед же, хоть и тяжело было, сам понес к саням закутанного Шурку.

— Прощай, Антон, — сказала Серафима и, быстро нагнувшись, схватив руку Антона, поцеловала и запнулась о порог: два поделуя за день — слишком много! — с криком отшатнулась русая голова.

Немного погода, вторые сани подкатили.

Дед торопливо убирал со стола рукописи, тетрадки, старые газеты и шамкал:

— С сундучком-то, с сундучком-то как?

— Не беспокойся, дед, — говорил Антон. — Все заберем. И лилипута тоже.

— Какого? — спрашивал дед, но тут же, спохватившись, бормотал: — Бери, бери, все пригодится.

Суетился дед, Антон из Зининой комнаты вел к саням Егорушку, Егорушка, в коленках переламываясь, тянул за собой корзиночку — галстучки свои цветные, манжеты.

— Подожди, дед! — крикнул Антон. — Чуть не забыл, — и обратно в подъезд кинулся.

Куклу за куклой тащил Антон, — приплющивая к стеклам одну за другой и на ходу выключателями действовал — побежали по снегу, рассыпались огни, тормаша красно-селимскую темень, сонную зимнюю заводь.

Сани тронулись.

Стоя в санях лицом окаменевшим к Паноптикуму, отъезжал Антон. Лиллипут всхлипывал, дед уже дремал.

В двенадцатом часу из ворот Чрезвычайной двинулась пятерка шинелей: впереди мохнатая бурка бурчала:

— Тышэ!

Как в незабвенное для Цимбалюка время, дни галакстренных программ, переливались все лампочки Паноптикума: романтические — розовые, драматические — зеленые, и фиолетовые — эффектные.

В окнах, торчком, в ночь вперив мертвые глаза, Рошель, тиролька, араб и безголовая Мария-Антуанетта поджидали гостей.

Красково — Москва

1921 — 1922

ГОРБАТЫЙ

СЕГОДНЯ, 25-го МАРТА, в день Благовещенья, в двенадцать часов дня, учитель словесности бывшей Мариинской женской гимназии Сергей Петрович Скоробогачев перестанет существовать.

Так надо, так пужно и так предопределено.

А Скоробогачев — это я.

Я помню, как детьми мы выпускали в этот день из клеток бедных пичужек. Помню, как чудесно и как вольно вырывались они из клеток — снова и снова к ясному, к мудрому в своей ясности небу.

И вот часа через два и моя дверца откроется.

Небо сегодня слегка облачно. Мне не везет, а ведь каким-то краешком души я верил, что день будет солнечный. В солнечный день легче подводить итоги, в солнечный день легче самому себе заглянуть в глаза.

Завтра, конечно (ведь мне везет), день разгуляется всю, зашумят канавки, задорнее станет гомон воробьиный, но ждать я не могу.

Мне тридцать шесть лет — тридцать шесть лет ожиданий, но отложить на один день не могу — и пусть «это» будет сегодня.

Только так — и только сегодня.

И вот мне тридцать шесть лет, на моем пальто болтаются светлые форменные пуговицы (именно болтаются, еще немного — и сорвутся, упадут), я женат, у меня мальчик лет семи.

Жена моя, высокая, худая женщина, теперь похожая на цаплю, продает на углу Николаевской газеты. Продает изпод полы — чудом умудряется раздобывать московские «Известия», а «Правду» ей второй месяц обещают. И когда Игорек хнычет, просит вкусных вещей, жена упрасивает его подождать до того времени, когда наш сосед-железнодорожник начнет привозить ей «Правду».

Итак, «Правда» должна изменить в корне наш хозяйственный уклад.

С нами живет девушка Шурочка.

Это моя племянница.

Ее отец, а мой брат, погиб под Эрзерумом, и я тогда еще взял ее к себе.

Ей семнадцать лет, но она горбатая и почти одного роста с моим мальчиком.

Она тоже занята торговлей: продает какие-то странные конфеты.

Предлагая их покупателям, она называет их «ирисами»; продавая, краснеет, мальчишки — главные ее клиенты — ее падувают, но она крепится. И утешает меня:

— Еще будет хорошо.

Когда жена моя и Шурочка заняты приготовлением этих самых «ирисов», в комнате нестерпимо пахнет жженым сургучом.

Я знаю, что сургуч вещь несъедобная, но запах этот именно таков.

В эти часы я изнываю от головной боли, мне хочется кричать, визжать, но мне жаль Шурочку.

И я шагаю из угла в угол и повторяю сто, двести раз какой-то нелепый и, насколько мне помнится с детских лет, неприличный стишок:

Ирис хорошенький цветочек,
Он пахнет очень хорошо...

До тех пор, пока Шурочка с лотком не выходит на улицу.

Лоток вдвое больше ее; ремешек еще ниже клонит ее к земле — и жалкий, маленький горбик так горестно, так безнадежно горестно выползает на улицу — к слякоти, к мокрым тротуарам, — к повой безнадежности.

Когда я вожусь с затворами, выпуская Шурочку, руки у меня дрожат (мы все еще кого-то боимся, и затвор у нас на двери тяжелый).

Шурочка видит это и говорит:

— Дядя, не надо, я пойду черпым ходом.

Уходя, Шурочка неизменно целует мои руки, но я их всегда стараюсь прятать: они у меня грязные, почти обкусаны.

Та же Шурочка помнит их другими: я в прежнее время любил душиться, — и Шурочка мне говорила:

— Наши (наши — это значит гимназистки, соученицы) зовут тебя «душкой», — ты и пахнешь, ты и душка вообще.

Итак, я исчезаю.

Есть люди, которые исчезают со скрежетом зубным; другие, исчезая, проклинаят все пути и все дороги, а я ухожу безропотно, без лишнего жеста.

Я вообще всегда был врагом чрезмерных телодвижений.

И вот, как тиха сегодня поступь весны — так тиха моя печаль; как легко сейчас весеннее дуновение — так легка моя грусть.

Я вырос в деревне, в город я попал уже юношей. Я рос без пазора, дни и ночи проводил в полях, в лесах, педелями рыбачил на низовье. Природа для меня всегда была любимой и открытой книгой, — я по какой-то глупой случайности стал словесником. Я до сих пор, к стыду своему, путаю амфибрахий с дактилем. Но я знаю, как живут перепела, где растет желтый дощник, как расцветает портулак,

и где водятся ливни, — и мне больно, что я не могу сегодня умереть в поле или в лесу.

Я умираю в городе, — ничего не поделаешь, — в том самом городе, где двенадцать лет тому назад я венчался в маленькой церкви, где невесте своей говорил, вступая на коврик:

— Боже, как ты прекрасна!

А теперь, когда жена при мне раздевается, — я отворачиваюсь.

Здесь был только пожарный клуб, куда изредка навдывались проголодавшиеся в пути актеры. Летом город гнулся под пылью, осенью тонул в грязи, в трактирах табуретками проламывали головы, на речке городской ветеринар, притаившись в кустах, снимал купающихся женщин и девушек, а потом угощал приятелей коллекциями карточек, иногда шумели рабочие и поколачивали старших мастеров, а теперь тут две газеты, множество различных учреждений, памятник Лассалю и клуб поэтов.

Но умираю я не потому, что там, где в базарный день мужики валялись в ногах околоточного, стоит памятник Лассалю, и не потому, что директор паш, Яков Ивапович, друг Глеба Успенского, скалывал на той неделе лед с тротуара.

Правда, от полицейского надзирателя к Лассалю дистанция большого размера.

Но ведь и я, Скоробогачев, три года тому назад по утрам пивший кофе со сдобными булочками и читавший «Русские Ведомости», а сегодня шагающий в рваном пальто, где пуговицы болтаются (вот-вот оторвутся и упадут), но ведь и я тоже одни памятники сбрасывал, другие воздвигал.

И — надо сознаться — менее удачно, чем это делают они теперь.

И умираю я не потому, что Лассаль мне мешает жить.

И не потому, что в особняке фабриканта Лишнева какая-то хроменькая барышня называет себя комендантом, — ведь называл же себя наш бывший исправник помазанником от бога на уезд, а он был груб, как бык, воровал, как дыган, и негласно содержал все дома терпимости.

И ведь я здоровался с ним и ведь часто первый кланялся.

И даже не потому, что порой мне нечего есть, и что у жены черные чулки заштопаны розовыми нитками: когда трясется весь мир, и розовые нитки на черном чулке не страшны, и даже могут они привязать к жизни крепче просмоленного каната. Я умираю, потому что... Об этом знает Шурочка.

Когда она вернется (а вернется она поздно, пока не распродаст «присы» свои), она уже не найдет меня в живых — и она поймет, она знает.

Она нагнется, поделует меня — и не упрекнет, только незаметно шепнет мне:

— Дядя, я знаю. Дядя, иначе нельзя.

Жена, конечно, будет упрекать меня: как я смел уйти, когда фунт хлеба стоит столько-то и столько-то, как я смел покончить с собой, когда все говорят, что еще месяца два-три — и откроется Маринская женская, а учителям жалованье выплатят за все потерянные годы.

А Шурочка — Шурочка станет еще меньше, еще больше согнется, и левое плечо ее еще ниже упадет, и глаза ее серые с черными точечками совсем потемпеют.

И тихо (это будет почью, когда жена, утомившись за длинный хлопотливый день, уснет на диване) она подойдет ко мне и скажет:

— Дядя, я все знаю: ты горбатый.

И еще тише промолвит:

— Меня уронили в детстве — стал горб расти. Была я как сосна — и вот уродец. Ты как будто прямым прожил до тридцати пяти лет и только на тридцать шестом заметил, что ты горбат. Ох, и большой же горб у тебя! И когда стремительно несутся прямые и сильные, где повернуться тебе, горбатуму? Где угнаться тебе? И вот ты понял — и не испугался правды. А другие боятся и горб свой прячут.

И, губы свои приблизив ко мне, она шепнет мне ласково и любовно:

— Спи, родной. Спи спокойно: горбатого могила исправит. Спи, милый.

И перекрестит меня.

И я усну. Я усну...

КНЯЖНА

ВРЕМЯ — 1920 ГОД. Март, хотя и южный, но все еще в снежной путанице.

Место — вагон, бывший служебный; два купэ разобраны, и получилось нечто в роде салона, — не то столовая, не то походная канцелярия.

Мой хозяин — окружной военный комиссар.

За нами разбитые добровольческие отряды; бегут к морю, к английским судам.

Впереди — что ни участок, то бандитские группы; неизвестно, где и когда разобраны рельсы скажут нам: стоп.

Я — штатская личность, случайно попавшая в гущу шинелей, донесений, пулеметных лент.

Стреляют и убивают позади, будут стрелять и убивать впереди, — и между вчерашним и завтрашним я слежу за бегом минут, часов и, старой деве подобный, гадаю: чет — нечет, смерть — Москва.

Мой хозяин держит путь, я — отдаюсь пути и крепкой руке, руке, что выудила меня, как щепку.

И вот: вокруг меня водоверть.

До вечера в вагоне стучит ундервуд — не понимаю, как, способом каким, будут отправлены все наши бумаги, не знаю, кому диктует их мой хозяин: кругом снег, бандиты, мертвые полустанки, искалеченная телефонная проволока.

Я многого не понимаю.

И прежде всего его — моего хозяина.

Когда-то мы вместе просиживали часами в парижской «Ротонде», когда-то он писал очень нежные стихи о прекрасной несуществующей любви.

Вторая ночь в дороге.

В первом часу поезд опять остановился. За окнами торопливые тени, качаются фонари в смутно очерченных руках, снег в желтых отсветах, глухая ночь за окном.

Не знаю, о чем спорят голоса, кому ночь по плечу, и кто в ней властвует, — я вернулся к своей койке.

Вошел мой хозяин:

— Спишь?

Я ни о чем не спрашиваю, но уже по одному тому, как он присаживается к столу и рассеянно пьет холодный чай из чайника, минуя стакан, я догадываюсь, что и эту ночь он провел на ногах.

И в эту ночь — последнюю в его жизни (но об этом в другой раз, потом, когда дойдет черед и до этой притяжки), — он присел ко мне и, словно мы только на две-три минуты прервали нашу беседу (а беседу-то мы вели недели полторы тому назад, тоже ночью, когда меня с постели приволокли к нему заложником), сказал:

— И я бы подписал. И я бы приказал: «Уведите его». И знаю: ты бы шел ровно, не спотыкаясь. Ты бы даже не покачнулся. И даже не обернулся бы поглядеть, гляжу я вслед тебе или не гляжу, опустил я глаза или не опустил. А все потому, что ты фокусник. Ты шел бы и твердил себе: «Не оборачивайся, не оборачивайся, покажи ему, как умеют умирать». А на деле выть хотел бы, сапоги красноармейца целовать, лишь бы отпустили. Но ты из кусочков спишь. Потому: надо уметь. А вот кто из всех своих кусочков, кто все свои кусочки расплавил для...

Догорела свеча. Он потянулся было за новой свечкой и — закинул руки на голову.

Мы потонули в темени.

Его давно уже нет в живых, а по сей день я думаю об одном: почему, почему в ту последнюю ночь своей жизни он захотел остаться в темноте, — он, так жадно полюбивший огонь во всех его видах, во всех его пламенных преобразованиях.

— Кто поднялся над всеми своими кусочками... Нет, слушай... Ты помнишь — ты спрашивал: где подоплека, как понять ее? Ты был голоден. Я прежде всего накормил тебя. Я ничего тебе не ответил. Как жадно ты ел; тогда ты забыл о своих кусочках. Сытый, ты уже ни о чем не спрашивал, тебе хотелось только спать. Я укрыл тебя шинелью. Как в прежние годы укрывал тебя в нашей комнатухе на rue Gazan, после того как, выпив, ты кричал мне: «Я хочу домой, домой». И вот ты дома. И ты такой бездомный. И все спрашиваешь, где подоплека. Бедный мой фокусник, бедный шпагоглотатель! Ты давно подавился, а все твердишь:

И блещет клинок мой и пляпа с пером.

— Бедняга, из шляпы твоей давным-давно сделаны портянки. Когда-нибудь ты увидишь их на раненом красноармейце, если ты захочешь нагнуться к нему, напоить его водичей. Подоплека? Слушай... Вот рядом за стенкой спит мой помощник. Ты его завтра увидишь. Эти дни его трепала испанка, он не выходил. Завтра он встанет. Погляди, погляди на него... После моего рассказа о нем. Я в праве это рассказать. Я хочу рассказать — тебе, моему «бывшему заложнику». Рассказать голо и просто. Ты слушаешь?

И его рука легла на мою руку, легла легко и тяжело одновременно.

Так ложится любовь на душу.

Так легла на меня моя страна, Россия моя.

Он рассказывал:

— Завтра, когда ты увидишь его, ты поймешь, почему прозвали его давно уже «атаманом», еще в 1908 году, когда за собой весь полк повел он — обыкновенный рядовой, слесарь из Мотовилихи. Ах, видно на Урале хлеба иные и воздух иной. Там вырастают такие плечи и такие сердца. И поймешь, как такой мог, будто походя, и девятилетнюю каторгу перенести, и два побега неудачных, наутек, в тайгу, на глазах конвойных, с дикими избиениями потом, и работу каторжную, месяцами, на Амурской колесухе, по колону в воде. На каторге не раз видел смерть близких. Когда пороть хотели — первый травился. Глотал морфий, молча, в углу, на нарах, и уцелел, провалявшись недели две. А встал — опять то же упорство, та же неукротимая воля. Все согнулись — он один не гнулся. Так стояли друг против друга две силы: он и начальник каторги. Тот давил — этот не поддавался. Шел поединок, настоящий, на смерть. Один из них неминуемо должен был погибнуть. И мартовская революция спасла его от возможной смерти на тюремном дворе, на рассвете, меж двух столбов. Красные знамена встретили его в Чите, красным знаменам он отдал себя. Он всегда молчал, но всегда был впереди. Для слов он уступал место другим, для дела он требовал себе опасные места. Мне всегда казалось, что этот человек не умеет ни плакать, ни смеяться. Я завидовал ему, по где-то в глубине своих древних, не изжитых кусочков содрогался: как! — ни слез, ни смеха? Абстракция, обведенная широкими плечами? Голая идея, втиснутая в могучую грудную клетку? Нас на много месяцев спаяла судьба. Потом мы расстались, чтоб вновь столкнуться. И вот я не знал, есть ли у него родные, близкие, живы ли отец, мать. Впрочем, скажи он при мне «моя мать» — я бы подпрыгнул.

Есть люди, представление о которых не вяжется со словом мама. Такие должны отвечать: нет у меня матери, меня тетка чужая родила. Кто родил его в том темном хвойном лесу, откуда он когда-то вышел на опушку?

И за восемь месяцев я не слышал, чтоб он разок хоть рассмеялся. О слезах нечего говорить: плакала земля, слезами исходили селения, города, но не он. И удивительнее всего одно: он не был жесток. Тогда черствели сердца, как корки забытой солдатской хлебной порции. Люди, стиснув зубы, научились рубить, точно мечом, своим «да» и «нет». Маленькие, щуплые, веснучатые по-звериному подпирались законом: око за око, зуб за зуб.

А он, кудрявый, на две головы выше всех, широкогрудый, вот такой, как рисуют богатыря в степи вольной, молча, именно молча, как-то по-особенному, по-своему отстранял все жестокости, словно они и прильнуть к нему не смели.

И увидел я однажды, как в одном маленьком еврейском селении, куда мы явились вслед за белыми, он остановился над трупом рыженькой девочки, изнасилованной и убитой убежавшими добровольцами.

Она лежала возле колодца, в разорванной рубашке; на голом животе кишели золотистые мухи. Он постоял немного, потом медленно стал снимать с себя шинель и, укрыв девочку, внес ее в ближайшую избу. Нес, а лицо его серело. И стало таким, что только тогда я впервые узнал, как может каменеть человеческое живое лицо.

А несколько часов спустя мимо него провели на расстрел двух мародеров, и он даже не обернулся, когда один из них завыл, валяясь в ногах конвоя.

Когда мы заняли город В, «атамана» назначили председателем Чека. Он молча подчинился этому назначению. Он всегда молчал. И без лишних слов он от мокрых полей,

ночевок на голой земле перешел в кабинет немло богатого барского особняка.

Смерть косила людей, на кровавой ниве люди падали, как колосья в бурю, и, словно между двух межей, он шел посреди жизни и смерти — прямо, не сгибаясь.

Вскоре из центра приехал новый товарищ, посланный для работы в Чека — Торопова Наташа, девушка лет двадцати пяти.

Худенькая, даже хрупкая — вот-вот перегнется — и пополам, она оказалась крепче и выносливее всех. Когда следили за полковником Прахоменко и его группой, Торопова две недели ни разу не прилегла. Да и заговор-то раскрыла она.

Дурнушка, с чуть раскосыми глазами, она казалась такой же незаметной, как пепельница на столе предчека. Но стоило ей только улыбнуться, как каждый из нас терялся: не благоговел, не восторгался, не загорался по-мужски, а именно терялся.

Улыбка ее внезапная так же внезапно ударила и отнимала всякую возможность соображать, понимать, догадываться, искать объяснения непонятному.

Человек терял нить — он переставал ориентироваться.

И я однажды понял: первым, кто потеряет нить свою, будет «атаман».

Я еще мог соображать: другие — давно разучились.

И они сошлись.

И вот все прошло передо мной — и я видел: «атаман» изнемогал от любви, всю свою нерастрченную любовь, всю свою припрятанную жажду своего человеческого счастья он уместил на улыбчивых губах под раскосыми глазами.

Закрываю глаза — и вижу их обоих в бешеной напряженной работе. И их вдвоем наедине — ладонь его, на которой она могла поместиться вся, и крохотную ручку ее,

всегда в фиолетовых пятнах от чернильного карандаша, точно гимназисточка, вот только белешкого фартучка нет, а каштановая коса переброшена за плечо, — когда удастся час-другой отдохнуть на клеенчатом диване в номере бывшей Дворянской гостиницы.

Закрываю глаза — и слышу, как «атаман» поет.

Около года жил с ним бок-о-бок, вместе убегали, вместе нападали, вместе глядели смерти прямо в перепосицу, — и не знал, что «атаман» поет, что любит он русскую, вольную даже в рабстве, песню.

А вот она на пятый день заставила его запеть.

И слышу, как просит она, чуть лениво слова растягивая:

— А я полежу, а я отдохну, а ты спой мне мою любимую.

И любимой песней ее была песня о Стеньке Разине, о княжне персидской, об атамане, что бабой стал.

И хочу, хочу не помнить, а слышу, как говорит она ему — ведь говорила не раз, ведь говорила не два, улыбаясь, все улыбаясь, раскосая, дурнушка, — обнимая, оплетая тугую шею, ставшую податливой.

— Ты — атаман мой. Мой, мой. Сильный, сильный. А я княжна твоя, маленькая, персиянка твоя. Вся в твоих могучих руках. Но знаю, знаю: не бросишь, не кинешь. Любишь? Любишь?

Это все по ночам, как днем товарищам по работе говорила сухо, деловито:

— Ничего, ничего! Берите пример с него. Вот это работник. Только с такими революция победит.

И улыбаясь — опять улыбаясь:

— Я счастлива, что работаю с ним.

И хочу забыть, а в ушах все вьется терпкий шопот воровбы на реке, ночью, в лодке — любила раскосая быстрый

бег лодки по темной реке, и, опрокинувшись, утопать в руках «атамана». Как ночь спокойная, нет срочных дел, так «атамана» за руку — и в лодку, — ворожбы неустанной. Ворожбы, потом, потом пересказанной мне, дико и беспорядочно, в неизгладимый июльский день, когда на третий день своего непонятого исчезновения он, молодец из бляхины, ввалился в мой номер, как мешок, набитый грухой.

И ворожила:

— Ты сильнее всех. Люблю кудри твои. Люблю серые глаза твои. Свергни имп, свергни, желанный. А я будто испугаюсь. Милый, милый. Ты точно из песни старой пришел ко мне. Как сладко лежать на груди твоей и так плыть, плыть с тобой. Люблю руки твои. Все перед тобой, как воробы.

В конце мая на правобережной стороне зашевелились белые — густо пошла вспышка. 26-го они овладели городом Б. 29-го наши вернули его, белые не успели и выбраться по-настоящему. И нашим, среди прочего добра, досталась вся их разведка со всеми делами.

А 30-го «атамана» вызвали к прямому проводу. Уже вечерело. Наташа в нижнем этаже допрашивала арестованных, и «атаман» один ушел в аппаратную. Коротко, быстро стучал стальной карандаш, низко гнулась голова «атамана», все ниже и ниже к белой сумасшедшей ленте, к страшным, к черным, к безумным буквам.

«По документам... захваченным... неопровержимо... что... агент Наташа Торопова... княжна Муравлина... связь с генералом Рыбельским... Захвачено донесение Тороповой-Муравлиной... план организации... Захват... Предлагается...»

«Атаман» рванул ленту.

К себе в кабинет он прошел ровно, словно послушный барабанному счетчику в строю — и только на один миг

всем телом навалился на стол, когда, не постучав, как всегда, вошла Наташа.

И он, впервые он, а не она, не запинаясь, предложил ей покататься на лодке, полчаса, двадцать минут, пока вот не соберется коллегия. И только пожаловался на головную боль.

От Чека до берега сажень сто — сто раз улыбнулась по пути раскосая.

Как обычно, только на середину выплыли, Наташа голову положила к нему на колени. Оттого ли, что выехали в неурочный час, оттого ли, что устала на допросе, но лежала Наташа молча.

Потом прикрыла глаза.

И вот тогда тихо окликнул ее «атаман»:

— Княжна!

Она улыбнулась.

— Княжна Муравина...

Она охнула и, отталкиваясь локтями, стала сползать вниз, вниз. Зажимая ей рот широкой, ставшей железной, ладонью, он метнул ее вверх. И все крепче и крепче надавливая на рот, он с размаху, далеко откинув от себя, швырнул ее в воду.

Где он пропал два дня, — я не спрашивал. Но я догадываюсь: река умеет говорить, а молчаливый человек — прислушиваться.

В день его появления приехал особо-уполномоченный, и он увез «атамана» с собой в Москву.

Мы встретились месяцев шесть спустя на южном фронте. Я командовал полком, он — был одним из тысячи красноармейцев моего полка. Он стал избегать меня, отворачиваться. Но однажды я столкнулся с ним вплотную: ему не удалось увернуться, и я увидел, что серые глаза его перестали...

В коридоре затопали. В дверь стучали:

— Товарищ-комиссар, скорее!

И в ночь, в темень, близко, рядом понеслись выстрелы.

И рука моего хозяина, вздрогнув, еще сильнее налегла на мою руку.

Так ложится неспелая любовь на душу.

Так легла на меня ты — моя страна, Россия моя, страна железа и воска.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПАСПОРТ

I

ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ.

Первым увидел его каменный бегемот в каменных трехпудовых сапогах, — застывшее древнее чудовище древней России, его покойное величество Александр Третий. Но каменный солдафон не успел даже и рассмотреть знатного путешественника, как тот уже был на Невском (ныне Проспект 25 Октября) и уже переходил Аничков мост.

Впрочем, к вечеру, когда стемпело, и в зыбких фонарях зыбко закачался Проспект 25 Октября, попрежнему здешний и нездешний, по-старому, как в дни Гоголя, чудесным явлением возникающий из клуба туманов, из глубин финских топей, из неуловимой вязи белых сцеплений белых ночей, — путешественник еще раз очутился возле бегемота.

На этот раз без желтого дорожного саквояжа, с которым он вышел на перрон Николаевского вокзала.

И у самых носков солдатских грузных сапог, возле тех самых подошв, под которыми некогда расплющивались лепешкой миллионы крестьянских изб, замер путешественник, а со стороны: будто просто обозревает знатный путешественник памятник прославленный, памятник ехидный, чтоб потом о нем написать статеек пять в какой-нибудь «La Presse» или в какой-нибудь «Times», пройтись насчет загадочной славянской души и предостеречь лондонских клерков или парижских консьержев от большевистской заразы.

И по-французски сказал путешественник каменному величеству, прислонившись плечом к его казацким штанам:

— Государь, вот я опять здесь. Мой дед служил тебе, мой отец служил тебе, я служил твоему сыну. Твой сын обманул меня; погибая, он погубил мою веру, мою правду. Но я переборол себя. И вот я не сдался, и вот я опять тут. Скажи, скажи мне: ты одобряешь мой приезд? Скажи, скажи мне: еще вернется царство твое? Молчишь?

Бегемот ширился и рос в сумерках, рос гнусной громадой, поднимался над площадью, — и молчал, перепомянутый кислыми щами, набитый до отказа гречневой кашей, налитый до ушей водкой.

И, слегка согнувшись, отошел путешественник; шел и теребил белокурую бородку.

А через день, уже бритым — джентльменом с папиросной коробки, 25 штук, высший сорт «А», — очутился в Москве на Кузнецком.

На Кузнецком, в четвертом часу, в день ранне-весенний, ранне-теплый, когда на всех углах торчали бездельники с охалками прекрасной молодой сирени, и подростки-девчонки в кепках, в кудряшках, между одной фразой о прибавочной стоимости и другой — о плохом обеде в столовой рабфака такого-то и такого-то с завистью и молодым вождением глядели на эту самую сирень, — путешественник видел, что является он на Кузнецком предметом усиленного внимания по-весеннему томных кузнецких послеобеденных дам, и что не раз оборачиваются советские модницы.

Тогда путешественник нанял извозчика, в гуще арбатских переулков слез, огляделся, подошел к одноэтажному серенькому особняку, заглянул в ворота, потом вернулся к парадной двери, потрогал ее, дверную ручку смазал ладонью — не то пробовал, поддается ли она, не то ласкал, —

и быстрыми шагами, словно убегая от места зачумленного, места опасного, повернул назад — к Пречистенскому бульвару. И на одной из скамеек просидел до темноты, все прямо глядя перед собой, все сидя не сгибаясь, — прямой, сумрачный и желтый: желтые ботинки, желтые гетры, желтые перчатки, все желтое, даже лицо цвета старой добротной слоповой кости, и кончики пальцев в желтых пятнах от непрерывного свертывания папиросок-самокруток. Даже волосы с желтизной, и только вне всего, над всем — и над желтыми гетрами, и над желтыми перчатками — глаза.

II

ГЛАЗА ЧЕЛОВЕКА.

Серые, с маленькими зелеными точечками, они одинаково равнодушно глядели и на константинопольские мечети, и на большие бульвары Парижа, и на содомские игры ночного Монмартра, где вся накипь европейского материка растекалась по кабацким столикам, гнилыми пузырями лопаясь в чаду, в дыму после-военного угара, и на фельдфельско-прямые дорожки берлинской Аллеи Победы.

И серые глаза были холодно-спокойны, когда в болгарской деревушке ночью, в дождь, в слякоть умирал человек, из-за угла подстреленный, и серые глаза убийцы прошли мимо судорог, мимо пальцев, царапающих в отчаянии чужую, мокрую, предательскую землю.

И они же, не моргнув, молча сказали: «да», когда спросили их в отдельном купе экспресса Вена — Париж:

— Удалось? И бумаги захвачены?

И они же не изменили своего выражения, когда (сейчас же после купе) в ночном парижском кабаке с грудастыми голыми Марьеттами люди пили, хохоча и рыгая, за новопреставленного в царство небесное, посылая ему матюка за великое русское дело, за освобожденный от

красных чертей Кремль, за возрожденный «Славянский Базар», где будут кормить по-настоящему, а не так, как тут, где ледащим франдузишкам самое разлюбезное дело лопать лягушат.

И одну из Марьетт, даже чулки с нее стянув (из-за чего Марьетта в раж пришла и гневно сказала, что русские хамы не считаются с женской стыдливостью, но тут же отошла, получив золотую компенсацию), обернули до живота красной портьерой, живот покрыли белой скатертью, на лицо накинута синий шарф другой Марьетты, — и, водрузив живой национальный флаг, стали истоиво прикладываться к нему. И воя сбежал русский флаг.

Серые глаза не потушились, серые глаза продолжали холодно и мертво взирать, как взирали потом на рассвет парижский, на собутыльников, которых почные ажаны в пелеринках волокли по принадлежности, и на чудесный предрассветный сон по-ночному умиротворенного Парижа.

И эти же глаза не дрогнули, когда позвали их к генералу, и когда сказал генерал, что родина — страдающая, измученная, истерзанная — зовет его на подвиг ратный.

И добавил генерал, ковыряя в зубах зубочисткой:

— Милый мой друг, если бы не мои годы, да мое лицо, которое знакомо каждому москвичу, я бы с восторгом поехал с вами.

И попросил генерал передать привет Москве, за него помолиться у Иверской, и за него же где-нибудь втихомолку, если это только не отразится на великом деле, придушить одного — другого, хотя бы из маленьких, комиссара, ибо до больших-то не добраться: крепко оберегают их латыши да китайцы.

И глаза серые пообещали и помолиться, и придушить, и узпать, как обстоит дело с генеральским лесом в Смоленской губернии.

На русской границе серые глаза остановились на первом красноармейце.

Красноармеец, тощий паренек, курносый, с прядкой белобрысой из-под козырька суконного шлема, стоял враскоряку, штаны на нем висели, как на огородном пугале, с одной ноги сползала грязно-зеленая обмотка, а глаза были веселые, с легкой плутцой; на знатного иностранца, на весь желтый облик его поглядели с усмешечкой, и не удержался курносый — не то фыркнул, не то поперхнулся, прядка белобрысая подпрыгнула, нос еще выше задрался, шлем со смеху на затылок убрался.

Хорошо смеялся паренек: так смеются в деревнях, выезжая на почное, оставляя позади себя все деревенские труды и заботы, предчувствуя ночь легкую, теплую, с огоньками костра, с рассказами длинными, байками всякими и песнями под сурдинку.

И в первый раз первое живое колебание прошло по серым глазам, и в первый раз сомкнулись глаза, точно от боли, чтоб потом опять и опять, не отрываясь, глядеть, как тянутся русские чахлые поля, как встают городишки, как разворачиваются извечно-попурые проселочные дорожки, как тянется и ширится эресефесеровский железный большак, подводя к Москве путников усталых.

Поздно ночью желтые ботинки (прекрасные английские ботинки) и желтые гетры вернулись в свой номер гостиницы, и старорежимный по виду швейцар (в кармане профкнижка, а насчет чаевых по настроению) хоть заспап был, а поклонился гостю-англичанину профинтерному, а может быть, и коминтерному, — надо поласковее с гостями, пусть видят, что и мы уважать гостей умеем, — и спокойной ночи пожелал, хотя тот по-русскому ни слова, все одно только: рюс, очинь карошо.

И вот ночью, когда Москва спит, когда никнут к земле домишки окраин и даже дремлет на Страстной Александр

Сергеевич, чуть ниже свесив руку со шляпой, летят в сторону ботинки, летят гетры, летят перчатки, — все желтое отшвырнуто, и в большой темной комнате бьется быстро-быстро, трепетно и жарко такое маленькое, такое крохотное человеческое сердце:

— Москва... Москва моя...

Будто кто-то под полом молоточком выстукивает.

И отвечает сердце:

— Моя... Моя... Семь лет.

Отвернута плотная бархатная гардина — рванула ее беспоконная рука, как бы снимая скверную, уже засохшую коросту с живого поздоровевшего тела.

И серые глаза не отрываются от окна, а за окном мокрый асфальт Тверской, подмигивание печного фонаря и грустное предрассветное московское небо.

О, не спутать его с константинопольским небом, не заменить его южным небом Салоник.

Одно небо — и нет другого.

Одна Москва — и нет другой.

И — один паспорт.

III

ЕГО БУМАЖНИК.

Тоже желтый, с огромным количеством отделений и под-отделений, он занимал отведенное ему место в кармане коричневого костюма. Он не спорил из-за места с записной книжкой, он не уплотнялся ради паспорта, ибо паспорт тоже имел свой определенный участок; и книжка записная, и паспорт, и бумажник жили дружно. Стараясь друг другу не мешать, они все вместе почтительно подчинялись суровому хозяину.

Но паспорт не знал о том, что в записной книжке, вот уже пятый день, прибавляются все новые и новые строки.

Английский паспорт с дюжиной доброй виз по-русски читать не мог, и эти новые строки могли только слегка заинтересовать его, но бумажник знал о них, потому что чем больше строк прибавлялось в записной книжке, тем все меньше и меньше хозяйская рука всовывала в бумажник различных документов и справок. И это отчасти радовало бумажник: он меньше пух и более свободно дышал.

А плотные связки долларов и фунтов вообще были равнодушны ко всему: опоясанные крепкой резинкой, они знали, что их час, когда нужно будет, пробьет.

Каждый день приносил новые строки, каждый день убывало количество документов, — и однажды бумажник даже заволновался: из бумажника ушло рекомендательное письмо виднейшего английского коммуниста к не менее видному московскому деятелю по части поднятия производительности земли, по части тракторов, усовершенствованных сноповязалок.

За ним исчезли изумительные фотографические снимки английских (не чета нашим, как мы во всем отстаем) полей, где эти самые тракторы работают потрясающе.

А в книжке прибавилось:

«... Я на своем веку убил, по меньшей мере, человек двадцать. Я был на трех фронтах. Я брал Варшаву и я же ее потом отдавал. Пядь за пядью вырывал я у большевиков русскую землю. Я сражался за Крым, за Кубань за Дон. Я не знал отдыха, сна. Я не был золотопогонным бездельником: я не отсиживался в тылу, я не осважничал, Осваг мне был так же омерзителен, как Чека. Убивал я в бою, не таясь. Потом, потом, когда не стало России, не стало русской правды, мне пришлось убить из-за угла. Грех, тяжкий грех для боевого офицера, но я знал, что так нужно для моей России. Ненависть к ним, к тем, кто

убил мою правду, дала мне силы сделать это. И вот я здесь. Я не мальчик, у меня был золотой Георгий за храбрость, я знал, на что я еду, и что мне надо делать, и чего ждут от меня пославшие. Но почему, почему нет во мне прежней решимости и... и... даже прежней ненависти? Почему хожу я по моим московским улицам с неистребимым сознанием, что каждый уголок Москвы укоряет меня? Почему порой не могу я заставить себя стать прежним? Что со мной, почему я, знающий твердо, что взятое на себя должно быть исполнено, начинаю колебаться? И почему мне чудится, что моя Москва не принимает меня и грозит мне? Разве улицы умеют говорить? Надо притти в себя, надо, надо... Боже, я уже не знаю, что по-настоящему надо сделать».

И еще прибавилось:

«Что это, что это, — воздух здесь что ли такой, или взаправду задумал я дело темное, моей Москве не-удное?»

Вскоре через все эти строки крест-на-крест легли решительные густые линии: зачеркнуто все... и не зачеркнуто будто.

Новых строк не прибавлялось.

И опять стал пухнуть бумажник, даже долларам и фунтам стало тесно. И от бумажника побежали по Москве тоненькие лучики: лучик за лучиком, распоряжение за распоряжением, за каждым лучиком вдогонку вашигтонские картинки, картинки оборачиваются червонцами, лучики нащупывают пути в наркоматы, лучики пробираются к папкам с делами.

Желтый бумажник в кармане коричневого лондонского костюма занимал твердое, без всяких сентиментальностей место.

А паспорт покрывал его.

IV

ЕГО ПАСПОРТ.

Кому придет в голову, нагнувшись над снимками, выслушивая точные, краткие, вразумительные объяснения приезжего из Англии, вдруг поднять голову и пытливо всмотреться в глаза, — в глаза, что вне желтых гетр, над тракторами, над всяческими снимками, — и в глазах человека, у которого паспорт с подобающим количеством виз, прочесть п...

И — ничего: тракторы работают, русским полям нужна встряска, на русских полях судьбы революции, судьбы восстания всего мира, на русских полях хлеб должен взойти миллиардами пудов, каждый лишний пуд — лишний удар по толстому, жирному затылку всесветного буржуа, на желтых гетрах ни пятнышка, английский паспорт в кармане, все на своем месте, серые глаза невозмутимы, в записной книжке над всеми русскими строчками, московскими, легли крест-на-крест густые решительные линии: все зачеркнуто, веки не дрожат, — все идет так, как надо.

И московский деятель приветливо жмет руку, где на пальцах желтые пятна, похожие на пролежни.

И московский деятель через переводчика передает, что рад был познакомиться с таким знатоком своего дела, что теперь уж работа закипит во-всю.

И, хитро поблескивая узкими смышленными глазенками, говорит деятель переводчику, приятелю своему и заместителю:

— А ну-ка, скажи этому желтому лорду, пусть плюнет на свою страну и останется работать у нас. Положим ему оклад по семнадцатому разряду, женим его на русской.

— Уес...

— Что, что он говорит? Не хочет? Уже женат? Скажи ему, что у нас это просто: разведем в пять минут.

И московский деятель хохочет, хохочет весело. Так хохотал на русской границе белобрый пареньек-красноармеец, завидев желтое обличье.

Англичанин прощается с хозяевами: крепкое пожатье, короткое, по дружеское, — с большевиками можно работать; у себя дома, в Англии, он расскажет всем, что Россия изумительная страна и что...

— Да-да. В России удивительно хорошо смеются. Я об этом обязательно напишу. С людьми, которые так просто и жизнерадостно смеются, работать можно и нужно. И развестись у вас можно в пять минут? У меня в Лондоне много приятелей, неудачников в семейной жизни. Можно прислать их сюда? — И англичанин тоже смеется, но смех его холоден и сух, и от этого смеха ни весело, ни тепло, — и уже торпливо роется московский деятель в своих бумагах на столе.

Англичанин идет вниз, — и шагают по Москве желтые ботинки, прекрасные английские ботинки.

Шагает паспорт.

Только одно небо настоящее — московское.

— Москва... Москва моя...

Одна Москва, нет другой.

И один паспорт, только один: от него не избавиться, от него не уйти, он давит тракторами, он поражает великолепно возделанными полями, он множит нити, и каждая нить вяжет Лондон с Парижем, Париж с Варшавой. От паспорта, как и от бумажника, бегут по Москве лучики, лучики прорезали человеческие души, — есть теперь в Москве немало душ, чьи вожделенья прикованы к паспорту англичанина в желтых гетрах, — и только Тверской бульвар знает, как одна встреча за другой проходит под его молодой весенней зеленью, и только Тверской бульвар знает, как продается человеческая душа, как она торгуется — не хуже и не лучше воп тех тверских женщин, что тело свое выносят на бульварный ночной рынок.

Шагают по Москве желтые ботинки, прекрасные английские ботинки.

И один комсомолец говорит другому, волнуясь, торопясь:

— Погляди, погляди!.. Вон тот!.. Из Коминтерна.

Я его по карточке в Роста узнал.

И комсомольцы, спеша, петли описывают, чтобы еще раз и еще раз взглянуть на того, кто в конце концов свалит Керзона и Ллойд-Джорджа.

Шагают ботинки, шагает паспорт.

— Москва моя, Москва моя...

А если сразу рвануться и все нити порвать? С кем зашагают желтые ботинки, к кому прильнут твердокаменные доллары, с кем завтра утром в десять часов, на углу Кузнецкого и Петровки обменяются взглядом, быстрым и точным, молодой человек, весь собранный, весь четкий, в безупречно сшитой шинели кавалерийского покроя (до пят), с четырьмя ромбами на погоне рукава, — одним взглядом, чтоб потом, на Малом Кузнецком, в прокопченной примусным дымом комматушке машинистки из Губторга, из кармана шинели вытащить связку бумаг, свернутых в трубку.

И опять до поздней ночи просидел иностранный путешественник на бульваре. И было ему холодно в весенней сырости, и чуть-чуть дрожал он, — он, который в мазурских болотах смеялся над гнилой осенью и над осенними болотными туманами.

А паспорт лежал в своем углу: он помнил лондонские туманы, и московская весенняя теплая сырость не отражалась на нем.

V

КАРМАН, В КОТОРОМ...

Бывают карманы среднего размера, бывают карманы большие, предназначенные для путешествий, и туда влезают и красный томик Бедкера, и морской бинокль, и термос.

Но где видано, чтоб в одном кармане, хотя бы даже длинной до пят кавалерийской шинели, могли уместиться дивизии, корпуса, артиллерийские склады, могла уместиться Россия?

— Да-да, вся Россия. — Серые глаза тускнеют и стынут.

Вся Россия. — О, как протянулась она от моря до моря! Шесть, шесть лет строилась она, шесть лет исходила кровью, слезами, хоронила своих и чужих, плакала женскими, детскими, стариковскими слезами, тряслась по ухабам, неслась по сугробам, вязла в болотах, терзалась тифом, холерой, голодала, мерзла, коростой обрастала, вшам тело свое отдавала, — и мчались киргизские, бурятские лошаденки, пыхтели грузовики, тарахтели тачанки, вскидывали винтовки латыши, костромские мужички, замкнутые финны, скуластые китайцы, земля трещала по швам, пылали в зареве города, матери искали детей, отец на сына шел, сын отца убивал, дети по проселочным дорогам трупиками громоздились, — и полз кусок земли к куску земли, чтоб связаться в одно, чтоб обернуться одной землей: встать, востать одной землей, в одном устремлении.

— Да-да... Вся Россия в одном кармане. — Серым глазам трудно глядеть на зелень Тверского бульвара, серым глазам больно.

И вот: из одного большого кармана вынуть все и все отдать, распять, растоптать.

Стучится и бьется такое маленькое, такое крохотное человеческое сердце:

— Вся Россия. Да-да.

Из кармана потянутся города, села, тысячи живых жизней, — и снова и снова побегут языки огня, снова дымом, копотью, гарью изойдет земля, и опять по русским дорогам поползут танки тысячегорлые, пушки, и вновь от края до края завьются, понесутся, закружатся лязг, свист, топот, гиканье.

— Вся... вся.

Бывают карманы среднего размера, бывают и большие, предназначенные для долгих и длинных путешествий, и тогда влезают туда толстые тетради для записей, грелки, дорожные аптечки, а вот есть карман, куда влезает страна — целиком, вся — и вся из кармана переходит...

Желтые гетры рванулись от скамейки, желтые гетры долго, долго чертили бульварное кольцо.

В этот вечер они прорезали всю Москву.

И в этот вечер серые глаза окончательно потускнели.

VI

ЕГО НОЧЬ.

А ночью из окна гостиницы сказали серые глаза Тверской улице, сказали бедному московскому фонарю, так непохожему на ночные фонари Елисейских Полей, и ночному московскому небу:

— Не могу больше.

Сказали молча, без слов, — и не знали они: часы ли проходят или минуты, вот тут у подоконника, под шум весеннего дождя.

Страшно, когда в весеннюю ночь плачет крепкий широкоплечий мужчина. Тогда каждая слеза, как раскаленное олово: прожигает насквозь; тогда уже — после нет человеку места на земле, нет ему отдыха и сна.

На ночном столике доллары из правого отделения желтого бумажника шепнули фунтам в левом:

— Он невменяем!

— О, эти русские! — саркастически скривились фунты, оправляя белоснежные манжеты, сдувая пыль с лакированных туфель.

И случайно уцелевшая стофранковая бумажка простерла к потолку бумажника свои бумажные, в водяных знаках, руки:

— О, мой dieu! (о, мой бог!)

А желтые ботинки в негодовании зарылись острыми носками в старый выцветший ковер, и гетры в возмущении надулись, лихорадочно застегиваясь на все застегжки, — бежать и бежать из этой проклятой большой страны, где джентльмены вдруг истерически каются, где джентльмены забывают о своем джентльменском долге.

Мокла Тверская, от подокошника не отрывался человек, — человек, ставший комочком.

Мокнут сейчас от Москвы до Архангельска русские поля, — и когда утром запрыгают грачи, и по всей земле русской потянутся струйками дымки над избами, на углу Кузнецкого и Петровки два человека обменяются взглядом быстрым и точным, ибо нужна быстрота и точность, ибо и тракторы работают быстро и превосходно — столь прекрасно, что у московского видного деятеля душа замирает от восхищения, и некогда взглянуть поверх желтых гетр и перчаток в глаза собеседника, в глаза человека.

Мокла Тверская.

Быть может, завтра высушит ее молодое весеннее солнце, и, как было десять лет тому назад, зашумит Тверская бодрым весенним шумом.

И, как было десять лет тому назад, звеня, точно юный подпоручик, только что выпущенный в полк, задорно примчится к Страстной трамвай «А» и повезет бульварами, зеленью вымытой, точно отполированной, газонами к Каменному мосту, к встрече желанной, к соломенной шляпке с васильками.

И васильки, чудесные русские васильки только кивнут.

Молча, молча и тихо.

И будет в этом кивке все: и сад, расцветающий черемухой, и нежное «да — нет», и молодость — неизбывная, горячая, парная, и убегающая межа полей, и скрип калитки поутру, когда скрип кажется непередаваемой чудесной

песней, и след туфли на слегка влажном песке, — а каждая песчинка — крупица золота, крупица найденного клада, — и будет в этом кивке счастливый холодок от сознания, что есть жизнь, есть Россия, есть молодость, есть счастье.

И кивнут, кивнут васильки. И тот — на углу Кузнецкого и Петровки — тоже кивнет, тоже молча, как молча потом вытащит из кармана (необъятного, необъятного!) сверток бумаг.

А если вот вдруг в этой прокопченной комнатухе обернуться и с размаху ударить по голове, четким, стремительным ударом по голове, чтоб распласталась кавалерийская шинель, а необъятный карман (оттопыривается, набухает полками, дивизиями, корпусами) повис жалкой, ненужной тряпкой?

Качнулась на окне темная гардина, — качнулся человек, качнулось маленькое, такое крохотное человеческое сердце.

Ночь шла. Ночью на подоконнике серые глаза просто и ясно увидали новый лик старой Москвы, и была в этом новом величайшая правда человеческого устремления к вершинам.

VII

А ДЛЯ СЕБЯ...

Светло, грустно и нежно, как всегда светает в Москве ранней весной.

И серые глаза, глаза человека, человека уже без гетр, без бумажника, без паспорта, в последний раз прильнули к Тверской и стали скользить по комнате.

Сперва они на несколько мгновений задержались у зеркала и сквозь дрожащую блеснь увидали себя.

Зеркало невозмутимо отразило искривленный рот, мертвенное лицо, голую шею в ворота шелковой темпой фуфайки, — и шея дернулась.

Потом они пусто и глухо прошли мимо глупого пейзажа в золоченой раме, мимо белеющей постели. И застыли

у столика ночного, где рядом с бумажником лежал паспорт. Одно небо... одна Москва... один паспорт...

Руки человека протянулись к паспорту. Паспорт скрипнул и раскинулся по полу ключьями.

Надулись, как бульдог, подстегнутый кнутом, фунты в левом отделении бумажника, сквозь зубы плюнули доллары, и сухопарая стофранковая бумажка, поджимая углы, стала приседать.

И от жалких остатков бывшего паспортного величия глаза человека перешли к небольшому коричневому футлярчику, — рука потянулась к нему, рука обрела желанное, — и глаза на миг сомкнулись: надо припомнить, в десять часов утра на углу Кузнецкого и Петровки. Надо все, все припомнить: дальше — Малый Козницкий, комнатуха, кавалерийская шинель, необъятный карман, сверток бумаг — цифры, чертежи, чертежи, цифры, донесения, сводки.

Дальше — саквояж с двойным дном, визы, пограничные посты. Дальше — Марьютты, кабачки, генеральские баки... Дальше...

— Вас можно поздравить. Вы молодец. Недаром я всегда распинался за вас. А большевикам-то нос утрем. Номер исключительный. А теперь едем к Ришу, вспырнуть этукую удачу. Уж я дешево не отдам.

Дальше... Дальше... О, чорт побери, дальше, что дальше?

За окном понемногу светлеет Тверская, откуда-то донесся хлопотливый звонок рабочего трамвая.

Руки, ставшие невозмутимо спокойными, вырвали из записной книжки чистый листок, серые глаза, не задумываясь, побежали по листику, как побежал карандаш, набрасывая строчку за строчкой.

— Ухожу, — повторил про себя человек.

И остановилось биение человеческого сердца, будто схватил и зажал сердце кулак железный хваткой мертвой и последней.

От гулко-го короткого удара подскочили на своих подошвах желтые ботинки, в ужасе, в беспомощности навалились на гетры, и те, не помня себя от страха, на коленках поползли под кровать, убегая, спасаясь от дыма.

И в дыму потонул бумажник.

И закрываясь навеки, навсегда, серые глаза уносили с собой память о васильках, о Тверской, о звонком трамвае «А», — память об одной Москве, об одном небе, об одной России.

VIII

ЧТО Ж, ПОДОЖДЕМ...

Утром, ровно в десять, на углу Петровки и Кузнецкого выросла кавалерийская шинель, в боках узкая. Гладко выбритое лицо свежо румянилось, пушились на кончиках каштановые усы, зеркально блестели сапоги, суконный шлем сидел ловко и красиво. Две приказчицы из Моссельпрома улыбнулись шинели, и шинель улыбнулась ответно — улыбкой готовой, привычной.

В половине одиннадцатого шинель начала нервничать.

В одиннадцать улетучился румянец, щеки пошли пепельными пятнами, усы от щипков резких и частых дыбом встали.

И долго волочилась по тротуару длинная кавалерийская шинель, — и ушла вниз к Театральной площади и затерялась в толпе.

Видный деятель насчет производительности земли, тракторов и прочего, приготовив сметы, планы и диаграммы, ждал английского гостя.

В первом часу заторопился на заседание.

— Вот тебе и английская аккуратность! — сказал заместитель.

— Ничего, — буркул себе под нос пред, — он от нас не убежит!..

КОГДА ЦВЕТЕТ ВИШНЯ

I

БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ.

Б Город мерз, коробился и застывал, как брюква, вышвырнутая за окно.

С утра до утра висел над городом сизый туман — покрывало, сотканное морозными стежками вперемежку с белесым дыханием приплюснутых труб.

И было все, как вчера, как пять, десять дней тому назад.

В партере гомозились полушубки, шинели, кожаные куртки на меху, будоражные папахи кренились то влево, то вправо — откуда лучше видеть. В проходе вился мокрый, снежный след: густо отпечатывали валенки, сапоги и бродни свой зимний шаг. Меж креслами натекали лужицы; всплакнув, отгаивали валенки в ожидании тепла, света и музыки, чтоб потом опять уйти в ночь, в снег, в темень, потонуть в сугробах.

На мраморной выщербленной стойке театрального буфета ледяными слезами слезились на двух блюдах конфетки-монпасшкки, скулил позеленевший самовар.

За кулисами Эскамильо дул в поспевшие кулаки, Хозе сговаривался с губнаробразом о концерте во «Дворце Коммуны». Губнаробраз, оперный покровитель, сам флейтист-любитель, обещал полпуда пшена и ордер на шапку с наушниками.

Стуча каблуками, бежала сверху, из женского холодильника, Кармен, — из-под арестантско-серой бекешы выбивался платок, пестрый, как майдац, ноги в туго натянутых красных чулках нетерпеливо и зябко ждали звонка: чулок о чулок терся.

И было все, как пятнадцать, двадцать дней тому назад, — бумажный цветок в волосах, бумажный цветок во рту, мреют мутные, точно госпитальные, лампочки, и муть в голове и муть в глазах...

Но помни, Кармен: ты и сегодня должна смеяться и завлекать, плясать и ускользать сигарным дымком, потому что в честь тебя по-медвежьи топают обмякшие валенки.

Кармен, скорее бумажный цветок в копну буйных черных волос, скорее цветок бумажный в измученный, усталый рот.

Потом, потом в своей холодной комнатухе на улице Карла Либкнехта ты плотно замкнешь его, зубы стиснешь и ничего не ответишь управделу Совнархоза, который несет к твоим красным пездешним чулкам свою управдельческую, смешную, здешнюю, с купонами на сливочное масло, с совпаркомским пайком, но такую пламенную любовь.

Ты не хочешь бумажной любви.

Ты так и сказала ему в воскресный, свободный от папок и ордеров, день, и опять плакал по исходящей управдел, — и за каждую слезинку его расплачиваются потом лилово-губые машинистки.

И было все, как вчера.

Бумажный цветок целовал Хозе, пряча его на своей тенорской, ячневой кашей попорченной груди, сигаретницы курили бумажные сигары и вихляли тощими бедрами.

И вдруг: стук в дверь женского охолодильника, и входит в уборную мохнатая бурка с башлыком малиновым, а поверх бурки, поверх башлыка (будто тоже театрального) такие знакомые — чьи, чьи? — непостижимо знакомые глаза.

И голос, — за далью лет как бы чужой, но каким-то своим, присущим оттенком близкий.

Только на одну минуту уйти в себя, одним мигом охватить: годы, Москву, Зиминский театр, ту неуклюжую каменную пустошь, доломап гусарский на углу Кузнецкого, письмо мужское — напорное, настойчивое, как настойчив был гусарский наскок в антракте между двумя действиями, — третье, пятое письмо и цветы, чуть вялые после орапжерейной холи, — снопы цветов в морозное московское с колокольным звоном праздничное утро.

И стремительно, безудержно всплеснулись, ринулись руки к мохнатой бурке:

— Сомов!

Слегка пригнувшись, бурка ответила сдавленно:

— Да, это я. Здравствуйте, Марина Петровна.

Преодолев жестяной насморк, трубы гремели во славу торреадора.

Перебивая друг другу шаг, испуганно-суетливо проходили шупленькие молодые еврейчики — испанские пикадоры и бандерильеры — и, словно книжками по пути из библиотеки, помахивали деревянными копиями.

В пустой уборной Кармен, перед гвоздем, где обычно висела ее бекеша, замер в отчаянии помощник режиссера. На полу валялся бумажный цветок — смятый, истерзанный.

II

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПИГОЛИЦА.

Горячо, с посвистом огненным пышет печурка в комнатке на улице Карла Либкнехта.

Вздудись обои от неожиданного тепла, живая рябь пошла по мертвому зеркалу.

Пышет печурка второй день, кипит на ней кастрюлька с вином, плавится сахар, корица пряно просится в жаркую

плавь, — два стакана рядом, два стакана звенят: пьет Кармен за новую жизнь.

Мохнатая бурка кинута на постель, на мохнатой бурке, в путанице черных завитков, попеременно красные чулки, малиновый башлык, белая подушка: пестрядь, минутный привал, чтоб не жалко было потом покинуть его, и раздвинув оледеневший оскал города, пронестись в визге полозьев сквозь предвечернюю блеснь мимо безличных домов к заставе и дальше, — куда, куда?

Уронив голову на плечо Сомова, Марина полулежала в санях, раскинув руки.

Из-под платка оренбургского, пухового (где только раздобыл его Сомов, чего только не приволокла мохнатая бурка!) по ветру бились посеребренные пряди волос, бледным румянцем горели чуть смуглые щеки, едва шевелились полуопущенные ресницы. А когда вдруг приоткрывались они, чтоб, поднявшись, вновь опуститься от сладкого бессилия, затуманенные глаза силились напоследок понять, осмыслить:

— Куда, куда ты меня везешь?

И никак: расстился бескрайный белый плат снегов, под белым платом чудесно и сладостно не думать, не мыслить, не гадать. Летела земля, летели пригорки, то вскочив с разбегу, то падая вниз, и тогда вместе с ними, стремглав, стремглав, падало небо. И блаженно улыбаясь, говорила Марина, чуть придушенно, как спросонья, от одного слова до другого замерев:

— Вези, вези, куда хочешь... Как хорошо... Будто крылья за спиной. Все равно, куда, по вези. Устала я. Пайки... зубной порошок вместо пудры, крысы в уборной. Чудно: Миша Сомов и я. А я тебя отталкивала, над шисьмами твоими смеялась. Теперь ты посмеешься.. Я голодная, государственная... пиголица. От прежнего только песни.

И то не те. Согреешь, накормишь и бросишь. Скажи, бросишь? Ты кто: краском? Жулик? Или комиссар очень важный? Все равно... Все равно... Сладко... дух захватывает... Вези, вези, куда хочешь.

Тянулся, тянулся белый, неведомый, неведомо-белый путь.

На рассвете проснулась Марина: серел вокзал, озябшими собаками лаяли пугливо одинокие паровозные гудки. Молча повел Сомов Марину рельсовыми разулочьями.

Догорали скуные, припавшие вплотную к земле редкие огни плоских сигнальных фонарей, мычали быки в хвосте застрявшего воинского эшелона, вокруг двух — трех жиденьких костров переминались, точно стреноженные, сонные красноармейцы, сумрачно выползали из снежно-мутной каши пакгаузы, будки.

В нетопленном искалеченном миксте Сомов сказал Марине:

— Жди меня. Я скоро вернусь. Будут спрашивать — запомни: никакого Сомова нет. Зовут меня Валико, а по фамилии Цавашвили. Я грузин, и ты грузинка-жена. Но ты больна и не встаешь.

— Хорошо, — покорно ответила Марина и легла на бархатные лохмотья.

Точно капля с колодезного сруба, падали в пустоту и в пустоте исчезали минуты, часы.

Холод, окно в купе застлано, зимний заслон повис сверху донизу, — все, как в уборной театра имени Лупачарского: и стула прежняя, и прежний зашпок нежилого квадрата, и те же елочки на стекле, и если подышать на них и в причудливой вязи дырочку просверлить дыханием прерывистым, беспокойным — что увидишь: новую смену старых декораций?

Падали капли...

Театр, опять театр, — проговорила про себя Марина и крепко, до боли, — ту же, ту же затянула на себе платок, сдавливая виски, щеки, губы...

Бекеша... вдоль истерзанного диванчика... под бекешой комок: и не шевелится.

Кармен, где твой бумажный цветок?

III

КОГДА ЦВЕТЕТ ВИШНЯ.

В вишневых садах тонул Белый-Крин, — оторвался от стены, махнул на нее рукой, на выжженные просторы ее, и укромно укрылся под розовеющим навесом, трепетным, зыбким.

Христианские избы по трубы — по горло — ушли в розовеющую цветень; еврейские домишки, более хлопотливые, вылезли тормопливо вперед.

И наказал атаман Дзюба, строго-настрого, маузером подкрепляя, вишневые деревья беречь, на варку не рубить и евреев на них не вешать, а вешать на синагогальном дворе: ближе да скорее к ихнему богу, да и вишня не опоганится.

В стену, в никуда убегали евреи и натыкались на плотную цепь тачанок: звено к звену, тачанка к тачанке.

Под колесами, меж лошадиных ног, под тачанками разметались распластанно девичьи косы; женские парики — знак мужниной еврейки-жены — похожие на скальпы, валялись в навозе; белые, полосатые, серые юбки, исступленной схваткой раскромсанные, мокли в лошадиной моче. Расхлыстанный вопль сотни ртов, перекошенных, разодранных до ушей колким ужасом степного одиночества, прорвал, протаранил нерукотворное розовеющее плетенье.

И в это лето на дней десять раньше обычного стал опадать вишневый цвет.

Белый-Крин полюбился Дзюбе, — и в первый же день послал он Бужака, сотника, командира первой конной сотни, вороной, к Сосунду, к правобережному, сказать, что лето-вать и зимовать будет в Белом-Крине, стены строить, становище крепить, и что просит Сосунда и всю его братву к себе в гости, на новоселье, чайку выпить с дзюбинской молодой вишней, а потом сообща чесануть на Голту, на Вознесенск.

Бужак отнекивался, просил взамен другого послать, а его оставить: сотню свою подтянуть, ибо стали вороные слишком волеваться, не слушаясь командира.

Но прикрикнул Дзюба — и понуро вышел Бужак из хаты.

А когда возился с кобылой, подругу ладил, потник при-мащивал, — низко гнулся, чтоб дрожанье губ спрятать: щерилась верхняя губа, нетерпеливо ерзали зубы, точно перемалывали, изголодавшиеся, долгожданную пищу.

И стиснул их Бужак и разгрыз едко-злую усмешку, а хвостик усмешечки ускользнул и, увиливая, заиграл под короткой щетиной жестких солдатских усов.

Для себя Дзюба занял докторский флигелек; домик раввина отвели первым трем сотникам: штаб; аптеку — фельдшеру, беглецу из красных рядов, под лазарет, а синагогу под командирских любимцев-коней, — у амвона заржал се-ребристый в яблоках жеребец Дзюбы, «Могильщик», в сафья-новых погавках; во дворе висели рядом: старичок-доктор, аптекарь, раввин и синагогальный служка. Немного погода привели еще десятка два евреев, молодых, — «большевиков» вешали с пристрастием: сперва били култышками по дето-родным местам, потом заставляли целовать икону и отка-зываться от коммуны.

В квартиру доктора нагнали баб-хохлупек: мыть полы, кипятком опшаривать мебель — смывать жидовскую нечисть,

чтоб мог атаман расположиться со своей женой на долгое и покойное житие.

На грани степи и Белого-Крина расстушились дозорные тачанки: пропустить дзюбинскую рессорную карету.

На крыльце докторского домика враскоряку стоял Дзюба: ждал. Вдувались шарами синие широченные шаровары, адели крестики кривого шитого ворота косоворотки, лоснилась бритая, с сизым налетом голова, породистый рот (будто с другого, с чужого лица снятый) наглухо замыкался. Близко стучали топоры: новую перекладину мастерили на синагогальном дворе.

Подкатила карета. Дзюба, покачиваясь, сошел вниз, дернул к себе дверцу, — взметнулась тонкая юбка, шелк зашуршал, мелькнули красные чулки, рванулся высокий желтый гребень из тугого узла черных волос.

И чулки, и переливы шелка сгреб Дзюба в охапку. Но гребень уперся в алые крестики:

— Отпусти. Ноги есть.

Дробь каблучков рассыпалась по крыльцу, дальше показилась — в комнаты.

И дробный перебой смолк вместе со скрежетом ключа, дважды перевернутого в двери бывшего докторского кабинета.

Дзюба пхнул сапогом насторожившуюся дверь:

— Марина, не балуй.

Заколыхались синие шаровары.

— Марина, открой! — и обмякли, сплюснулись.

И слышно было, как за дверью полетели на пол туфли, гребень, как стукнуло окно, закрываясь, как заскрипела кровать.

Поздно вечером Марина сползла с постели, распахнула окно и, обомлев, застыла у подоконника: не переставая, не умоляя, не затихая, одной длинной, длинной, ровной,

тягучей нотой плыл над Белым-Крином стоустый плач, — в степь, в безлюдь, в ночь гнали дзюбинцы уцелевших евреев.

В ночном трепете, в вишневых садах закоддованно ник Белый-Крин; за полисадниками, из окон христианских маза-нок ложились на зелень полосы света, — зыбкие, будто пряди туманные.

И падал дождь неторопливый из лепестков белых, прежде-ременно умирающих.

IV

ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ.

Путру сотники развели своих людей по домам поки-нутым. В полдень приступили к закладке крепостной сте-ны, — десятки подвод затарахтели к северу, к ближайшей каменоломне. На базарной площади поп служил молебен. Дзюбинцы, почистившись, принарядившись, сомкнулись пле-чом к плечу и не шевелились, только мелькали трехперст-ные руки, сотники на своих местах командирски охорашивались, гудел колокол. Дзюба, пеший и строгий, стоял впереди, и рядом Марина, — янтарился под солнцем высо-кий гребень, Марина сутулилась, — глаза норовили к земле.

— Стой прямо! — хриплым шопотом кинул Дзюба. — На людях стойшь.

Марина выпрямилась, отхлынула кровь от лица, сму-глота щек побледнела и, будоража яркие разводы, в бахрому платка судорожно впились пальцы, ненавистью и яростью сведенные.

И этим же пальцам приказано было под вечер переби-рать гитарные струны.

— Не буду петь. Ни для тебя, ни для твоих негодяев, — сказала Марина и отшвырнула гитару.

Жалуюсь протяжным стоном, упала гитара, горестно распластались ленты, словно косы оскорбленной женщины.

Дзюба нагнулся за гитарой. Долго поднимал ее, долго, — невелика будто тяжесть, а набухал, багровел бритый затылок.

А когда Дзюба разогнулся, было лицо его белее белого чесучевого праздничного бешмета.

И побелевшее, уже нечеловеческое лицо вплотную пригнулось к другому, встало над ним, налегло на него, как налегли на отшатнувшиеся женские плечи тяжелые руки.

— Будешь петь! И плясать будешь!

Сузились плечи, чтоб... вскоре, налившись глухим бессилием безудержного гнева и отчаяния, округлиться, распрямиться, завертеться, закружиться в тесном кольце подрагивающих колен, прыгающих бород, разверстых ртов, взбухших колбас, распотрошенных окороков, липких барилок, потных рубах, шершавых рук, вонючих носогреек, жирных сапог, похотливых шаровар, опрокинутых чарок и взмокших усов.

Пляши, пляши, Марина: восемь сотников пьяны тобой (девятый, Бужак, в эти минуты по степи скачет и тоже пьян, но другим, другим опьянением, — девятый, Бужак, цепкими горстями пьет хмельную радость, — девятый, Бужак, к заветным кострам несется, чтоб там рапортом коротким радость свою расцлескать и тут же взять ее на цугундер, свернуть на послушание, как сворачиваются на послушание воинские шинели).

Пляши, пляши, Марина: восемь сотников пьяны тобой (девятый, Бужак, тоже пьян, но другим, другим опьянением, — ищи, ищи-ка ветра в поле!), десятый, Дзюба, глаз с тебя не сводит. Так глаз не сводил с тебя гусар Миша Сомов в первом ряду Зиминского партера, когда ты лежала на коврике и гадала на картах, — напорочили тебе, пагадали тебе карты жуткую древнюю женскую русскую долю с сапным путем, с разбойничьим посвистом, с виселицами и мукой ночной в жаркой постели с опостылым.

Пой, Марина, потому что поздно уже, поздно плакать о том, что мохнатая бурка и малиновый башлык, в зимнюю вечернюю стужу тепло и чудо принесшие (а как хорошо было когда-то под этой буркой нежиться!), обернулись ненавистным белым бешметом и подлыми посеребрёнными пуговицами.

Кружит, кружит голову неумная, бессильная ненависть... кружился, вертелся, извивался пестрый, как восточный базар, платок, бахромой мазал по волосатым губам, и тогда летела в сторону очередная табуретка, и ярая рука, вынырнув из шаровар, пыталась схватить, поймать ускользящий живой волчок.

Два сотника помоложе, расставив ноги, пригнувшись, остервенело тискали, мяли, дергали гармошки, и гармошки, точно девки, которым в кустах озорно груди ущемили, визжали с вскриком. Издали из вишневых садов ответно отзывались другие гармошки, тренькали балабайки, неслись женские податливые гульбывые смешки: дзюбинские хлопцы водили ночные свадьбы.

И в последний раз пристукнув каблуками, Марина, шатаясь, кинулась к двери; в спину, вдогонку понесся вой обманутых.

— Дзюба! — исходил слюной, перегаром и гнусаво скомканным криком сотник второй пешей сотни — безносый, плоскогубый, выструганный сифилисом Митнюк. — А с песнями как? Мать твою в облу! Гостей надувать? Гостей не уважаешь?

Дзюба перебил дорогу Марине:

— Теперь пой! — и ухо ожег огненным, спиртом и страстью перевитым, шопотом. — Мою любимую... из первого действия.

Марина прикрыла глаза, в стиснутых зубах свистело неукротимое дыхание.

— Дай гитару! — тихо проговорила она, не открывая глаз, а когда открыла, — обвела комнату исподлобным, искушенным взглядом и крикнула Дзюбе:

— Садись посередине.

Отметая все по пути, Дзюба расчищал место; на середину вколотил стул, уселся верхом, на спинку стула легли локти, а над локтями повисли, натекая, воспаленные глаза — две впадины, смолой облитые.

Гогоча, отходили сотники к стенке; детское любопытство пробивалось сквозь икоту и пьяную дурь.

Кошачьей повадкой метнулась Марина на середину, охаживая стул, белый бешмет, лакированные сапоги; в руках у нее истошно заняли первые переборы гитары, но тут же, нытье отшвырнув, обернулись лукавым перебором, — и взмыл поверху дразнящий, завлекающий, густой, словно из сот вытекающий, грудной, низко-глубокий голос:

Любовь свободна, мир чаруя...

Дрогнули белые чесучевые локти...

Законов всех она сильней...

В кругу кошачьих извивов душно, душно бешмету. Все туже и туже круг... крепче, крепче надавливают локти спинку стула.

И потек голос, едко, угрожающе выговаривая:

Меня... ты любишь, я ненавижу, —
Так берегись...

С треском разлетелась спинка стула.

И, рванув к себе Марину, подбросив ее на руках, смяв, скомкав, подбородком налегая на ее грудь, Дзюба прыгнул к двери — к докторскому кабинету, к постели.

— Ненавидишь? Ты так? Из песни слов... Ведьма... Не выкинешь. Ведьма... счастье мое... Кармен... Любовь моя...

На крыльце грохотали сапоги: спотыкаясь, чертыхаясь, воя от вождения, сотники мчались к вишневым садам — искать горячую женскую плоть.

V

СТРАННЫЙ ЖИД.

К концу недели вернулся Бужак.

Привез он согласие Сосунца и подарок: доложил Бужак, что следом идут подводы со спиртом, — два винокуренных завода обчистил Сосунец на том берегу, завтра будут подводы тут-как-тут, под охраной едут боченки: ни утечки, ни усушки.

И еще привел с собой Бужак человека одного: встретил его в степи, тот спрашивал, как вернее к Белому-Крину добраться — для разговора одного, для дела одного.

— А кто он? — спросил Дзюба и мельком взглянул на Марину: скрючившись, Марина уткнулась в угол дивана (опять, опять спит, все спит да спит).

— Жид.

— Что? — хрипнул Дзюба и обернулся к двум сотникам, что были в комнате. — Поглядите на дуrolома. Не подстрелил, да еще сюда приволок.

Бужак ухмыльнулся.

— Да у него винтовка не хуже моей. И конь как будто ничего. И хорошо, жидюга, языком чешет. Поговорили едучи. Собой он как бы в роде дурачка. Позвать, что ли?

— Зови! — буркнул Дзюба и привстал, когда на пороге неторопливо, спокойно показался невысокого роста, под гребенку стриженный, с белокурой бородкой, худощавый человек, на ходу (так же неторопливо) снимая с плеча винтовку.

Блеснули очки.

— Очкастый! — по-бабьи взвизгнул один из сотников и покатился. Пришедший рассеянно поглядел на него и

направился к Дзюбе, неподалеку от стола присел, прислонил винтовку, попробовал, не кренится ли она, снял очки, подул на стеклышки и только тогда повернулся к Дзюбе.

Дзюба, упираясь кулаками в стол, кривился и ждал. Повидимому, чего-то ждал и пришедший.

Тогда Дзюба выдал из себя натужно:

— Ну?

Пришедший снова снял очки, прищурился и негромко, но раздельно сказал:

— *Renvoyez vos imbéciles.*

На диване встрепенулся комок, развернулся, — Марина приподнималась: жадно скользнув загоревшимся взглядом по лицу пришедшего, еще с большей жадностью впилась в Дзюбу.

Дзюба грудью налег на стол. Стол затрещал, навалился на пришедшего. Пришедший, не отодвигаясь, продолжал сидеть: старательно вытирал очки и рассеянно улыбался.

Дзюба нацупал на поясе револьвер, сгреб его и — разжал пальцы и дрожь их припрятал за воротом рубахи (давит, давит ворот... жид проклятый... какой выговор французский... пристрелить, как собаку), и обратился к Бужаку, к сотникам, не глядя на них:

— Шкандыбайте, хлопцы. Я уж с ним поговорю! — и невесело, через силу рассмеялся.

Пришедший надел очки и обхватил колена сухими руками, острой бородкой подавшись вперед.

— Теперь другое дело. Теперь мы можем поговорить.

Дзюба поглядел на Марину, та опустила голову, — упали руки, упала тень от ресниц на побледневшие щеки.

Пришедший поймал взгляд Дзюбы и проговорил:

— Мадам может остаться. Мадам не помешает нам, — и снова мелькнула рассеянная улыбка.

Марина покраснела, — в угол дивана обратно уполз комок, но уже трепещущий, ожидающий и потрясенный.

— Кто вы? Как вас зовут? — с усилием спросил Дзюба.

— Марат.

— Жидов с такими именами не бывает.

— Я анархист.

— Вы жид! — крикнул Дзюба. — Это по носу видно.

Марат поглядел на свои руки и вскинул глаза.

— Да, я был зачат евреем. В прошлом меня звали Меерович. Но мир треснул. Меерович теперь пустой звук, клошная шкурка. Марат — это труба, возвещающая новую эпоху. Марат — это осьминог великой идеи: восемь щупальцев вокруг всех частей света, сжать земной шар и как детский глобус опрокинуть его.

— Вы странный жид, — чуть мягче сказал Дзюба.

— Такой же, как вы украинский батько.

— Я повешу вас! — гаркнул Дзюба. — Я всех жидов вешаю.

— И это ваша задача? — раздумчиво проговорил Марат. — Я вам дам дружую.

— Почему вы заговорили со мной по-французски? Кто вам сказал, что я не...

Марат, как бы защищаясь от нападения, заслонился рукой.

— Не надо об этом.

— Что вам, наконец, нужно от меня? — грубо рванул его Дзюба за край пыльного френча.

Марат медленно освободил свой френч и сказал:

— Не надо лишних телодвижений. Мы одни, и можно оставить пейзажные замашки. От вас? Все! Я пишу книгу об анархии. О новой, еще никому неизвестной. Каждую строчку моей книги надо претворить в жизнь. Мои формулы должны обратиться в живоносные артерии. Мои формулы должны начать пульсировать. В них есть математика, но нет крови. Мои выводы нуждаются в проверке.

— А я вас все-таки повешу, — медленно сказал Дзюба. — Я ненавижу все: Россию, мужиков, книги, нашу дворянскую белую мразь, красных пророков из газетной подворотни, жидов, теории.

— И себя? — так же медленно спросил Марат.

— И себя! — качнул Дзюба сизым костяком, направляясь к выходу, и вдруг громко захохотал, шершаво, точно горло стружьями обросло. — Проверка? Будет проверка! — и опрометью высунулся по пояс в окно, гаркнув бешено: — Митька, подать мне «Могильщика». Живей!

И снова на диване встрепенулся комок: Марина вскочила на ноги, но уже шел Дзюба назад от окна, — и нехотя, грузно попятилась Марина.

Дзюба подошел к Марату и смерил его с ног до головы.

— Слушайте вы, тщедушный осьминог...

— Да, это правда... — улыбнулся Марат, и от этой полувиноватой, полусмущенной улыбки лицо его стало похожим на лицо самого обыкновенного еврея-экстерна, из тех, что когда-то сдавали латынь при округе и, пламенея, робко бормотали: *gosa, gosae, gosis*. — Я, действительно, ростом не вышел.

— Так вот... пульсация формулы? Так вот: вы на коня, я на коня. Кругом Белого-Крина. Я обгоню — висеть вам, вон там, где уже висят у меня ваши родичи. Вы обгоните — не трону. И... и... и даже поговорим. Честно предупреждаю: мой конь — зверь. По шерстке кличка: Могильщик. Загонит вас в могилу. Идет?

Марат потеревил бородку, задумчиво обвел комнату ушедшим в себя взглядом, на короткий миг задержал его на Марине, — точно зашнулся или что-то вспомнил и сказать хотел, увидав застывшее в скорби лицо, — и ответил:

— Хорошо. Я согласен. Это мной не предусмотрено было. Но это в роде иллюстрации к моему тезису о примате личности. В первой главе моей книги, раздел второй...

VI

«МЕЧТА АНАРХИИ».

Гнедая кобылка, низкорослая, на привязи, мирно пощипывала траву. Марат и Дзюба вышли на крыльцо. Позади, как бы собранная в один тугой узел, кралась Марина, при каждом движении Дзюбы сторожко откидывалась назад, чтоб снова и снова, неотступно, по-копачьи, бесшумно продвигаться.

Дзюба глянул в сторону кобылки:

— Ваша? Как зовут?

Задорно, как почудилось Дзюбе, свергнули очки.

— Мечта Анархии.

Дзюба вспыхнул:

— Жидовская мечта! Дрянь вляча. Ей бы лапсердак вместо седла, и зонтик взамен мундштука. А-а-а!.. — Дзюба всем корпусом выдвинулся вперед и жадно облизнул губы. — А-а-а, моего ведут, зверюгу мою.

Из-за угла вынырнула серебристая, вольно и гордо посаженная шея, серые яблоки покатались по крутым бокам, на поводу прыгал Митька-конюх, упираясь о землю голыми пятками, приближался Бужак, кое-где в одиночку показывались дзюбинцы. Гнедая кобылка очумело заметалась на привязи. И, кинув напорное и ненасытное ржанье, «Могильщик» вырвался из рук Митьки, раскосил вмиг оплывшие кровью глаза и понесся, копытами отчеканивая звериное желание.

Дзюба ахнул, спрыгнул с крыльца и кинулся наперерез, но «Могильщик» отпрянул, приподнявшись в воздухе, вычертил дугу и вкось пустил по ветру строптивую, вздыбленную гриву. Не рассчитав, Дзюба грохнулся о землю, — и как бы в злом упоении на крыльце всколыхнулся платок.

А когда близко, у самого крыльца мелькнул серебристоматовый окатистый круп, Марат, так и не покидавший

крыльца, слегка присел и сорвался с места. Горько и сдавленно вскрикнула Марина, и слабый крик ее потонул в доканыи копыт, в облаке пыли. Минуты через три в руках Марата «Могильщик» мелко задрожал от холки до хвоста но уже покорный, послушный. Издали Бужак ухмылялся, — ухмылялся, уже не таясь, а потом быстро завернул за избы и вишневыми садами побежал к стени.

Дзюба поднялся, подошел к «Могильщику» и плюнул ему в глаза.

— Отдать его обозным! — крикнул он Митьке и обернулся к Марату.

Марат, присев на корточки, сокрушенно шарил по траве: искал очки; беспомощно щурились на свету глаза в щелочках с краснотой, белокурая, в пыли, борода свисала путанной мочалкой, с плеча полз книзу ободранный в схватке рукав.

— Вы свободны, — сумрачно процедил Дзюба и, как недавно в комнате, оглядел Марата с ног до головы. — Победитель вы жи... — и криво и скверно усмехнулся. — Живописный.

И, впервые за все время, однотонное, будто всегда пеплом посыпанное лицо Марата изменилось: пошло вперемежку красными и синими пятнами; задрожали белесые веки.

И тихо и брезгливо он проговорил:

— Солдафон! Когда вы гардовали на армейских попойках, я в прериях месяцами не слезал с седла и на землю не падал, — и, не оглядываясь, пошел к крыльцу.

Одним прыжком Дзюба настиг его, Марат уже заносил ногу на нижнюю ступеньку.

— Вон! — прохрипел Дзюба. — Уезжай немедленно. Я слово дал. Уезжай... Я за себя не ручаюсь.

— А наше дело? Как с ним? — и Марат повернулся к нему прежним — пепельным, спокойным — лицом, на котором бродила, точно заблудившись раз навсегда, рассеянная — не то грустная, не то бесповоротно безумная улыбка.

— О-о-о!.. — замотал Дзюба головой. — Тошный ты!..

А когда Марат уже сидел в седле, и «Мечта Анархии», дожевывая клок травы, лениво-протестующе поводила мордой, — Марина, точно птица, у которой в неволе вдруг выросли крылья, сорвалась с крыльца и промчалась — птицей, птицей, почувывшей открытую дверцу клетки, — мимо Дзюбы, только платком задев его, к Марату, уже на ходу крича:

— Подождите! Подождите!

И кричала, — спиной прижимаясь к ногам Марата, назад, через плечи свои, руки забрасывая, алчущими пальцами ловя помощь, надежду, защиту, а лицом пылающим к Дзюбе, глазами несатытыми к Дзюбе, глазами ненавидящими к Дзюбе.

— Возьмите меня с собой... Я не жена ему. Зверь! Зверь! Увезите меня. Я полюблю вас... Зверь! Я уже вас...

Сдирая с себя ремень, словно полоску с живого трепещущего мяса, кромсая кобуру, Дзюба выхватил револьвер.

Сотни раз умирая тигрицей на всех театральных подмостках от Читы до Москвы и от Москвы до Житомира, в последний раз умирала Кармен на траве, неподалеку от виселиц, под вишнями Белого-Крина, умирала жалко и безнадежно, как бескрылая птица, как пигалица, подшибленная, смятая вихревой, огненной бурей.

Вечерело...

По степи ложились густые тени, словно плуг неведомый извлек из-под травы черные бархатные полосы и уложил их рядом, полосу за полосой. Все глубже и глубже уходило небо в высоту. Четко чудесно и волнующе возник в глубине Пояс Ориона. Марат оглянулся — далеко позади расплывалась и таяла последняя вишневая купа Белого-Крина. Марат опустил поводья и поднял к горящему Поясу близорукие, подслеповатые, но широко, широко раскрытые глаза.

«Мечта Анархии» дернула мордой, удовлетворенно «фыркнула и ушипнула влажную росную траву.

VII

Одним словом...

Поздно ночью Митнюк рыскал по Белому-Крину, — шарил по вишневым садам, выуживал сотников из кустов, отрывал их от дебелых бабьих грудей, от разморенных молодух и волок их к атаману: всех сотников созывал Дзюба на спиртное раздолье, на остаточки (завтра новый спирт будет: едут сосундовские бочки), на бражный разлив, за упокой души новопреставленной.

Всех подобрал Митнюк, только Бужака не мог найти.

— Б-у-ужа-ак! — долго надрывался в вишени гнусавый голос. В ответ только тренькали балайки, летала матерщина и уплывали из-под самых ног гульмивые женские смешки.

И опять в докторском домике завоняли трубки, застучали жирные сапоги, запрыгали бороды, криво зазияли раздвинутые рты, запотнели рубахи, растопырились окорока и зазвенели кружки.

И опять Дзюба швырнул стул на середину, снова сел верхом, упираясь локтями о спинку стула, и заклокотал, заревел, выкатив на белые локти бешено-пьяные глаза, — две впадины, облитые смолой, кровью, сумасшедшей мукой.

— Маршна, пляши!

И тут-как-тут, на пороге, на свету зачернел Бужак. Митнюк, опрокидывая снесь, бутылки, потянулся к Бужаку через стол:

— Бужак... Стерва. Да я тебя шукал. Живем!

— Есть! — ухмыльнулся Бужак во весь рот. И внезапно, мигом посерел, подтянулся, шагнул к середине и, срываясь с голоса, крикнул:

— По приказу социальной и коммунальной революции... Мать вашу... Одним словом — ни с места! — и приставил маузер к бритому затылку Дзюбы.

В окна, в двери прыгали, лезли, скакали, напирала шинели.

МЕМОАРЫ ВЕСНУЩАТОГО ЧЕЛОВЕКА

МНОГОУВАЖАЕМЫЙ гражданин-товарищ редактор, Алексей Киприанович, если не ошибаюсь, если только известный Вам, а также и, к горю моему, мне, прозаический писатель Петр Письменный не изволил пошутить надо мной и во время оно правильно, без фокусов указал Ваше имя и отчество. Ибо названный писатель временами, подвынив и в то же время пронзительно поглядывая на человеческий материал, нужный ему для романа в трилогию и в пяти частях о коммунистической революции и пертурбации в умах и душах как пролетарско-крестьянского народонаселения, так и буржуазного, не то входит в забвение по части имен своих знакомых, не то ради шутки нарочито имена одних пристегивает, так сказать, не с той стороны, не к тому дышлу, а фамилии других снабжает преступно несоответствующими званиями.

Надвигалась прекрасная дождливая ночь, когда на Тверской, возле роскошного магазина бывшего Елисеева, я в двенадцатом часу, на пустой до отказа желудок, разглядывая головокружительные витрины, со скорбью вспоминал о том, как многие враги существующего режима лгут по заграницам в своих газетах, указывая бессовестно, что нынешний порядок не одобряет паюсную икру или семгу и заставляет всех граждан есть воблу или яч-кашу, и с великой радостью собственными глазами констатировал, как процветает и пышным красным бутоном распускается наша торговля, промышленность и ремесла.

Как вдруг останавливается извозчичья кляча, и вышеуказанный писатель Петр Письменный, с которым я имел честь недавно до того познакомиться шапочно и кратковременно, окликнул меня и, слезая с дрожек, предложил мне отбыть вместе с ним в гости к Члену Коллегии Народного Комиссариата по Военным, Сухопутным и Морским Делах Сергею Яковлевичу Хлебникову, куда он и спешил, остановившись перед бывшим Елисейевым для пополнения, и меня, маленького человека, по доброте своей решил прихватить на скромный ужин к названному своему на короткой и тесной дружеской поге приятелю.

При всей своей лойяльности и даже гораздо больше, я принужден был вздрогнуть и, при всем своем тихом поведении, я не мог удержаться от вскрика, подобного женскому легкому визгу:

— Как? К такому большому человеку? Да мне, да с моим украшением?

Но разве писатели внимают голосу благоразумия, когда их посещает жгучее вдохновение, и жизнь им не в жизнь без ночной беседы для производительности труда в постановке человеческой комедии на страницах своего собрания сочинений? И я, тоже отмеченный перстом писательского рока, о чем речь будет в нижних строках моего рукописного созидания, сопротивляться не в силах был, тем паче, что вышеуказанный писатель хоть ростом и не высок и на вид туберкулезен и малохолен, но в мышцах своих настойчив и упрям,

Сели мы, а меж нами посередке три сверточка, в содержимом которых я участия принимать не мог, в виду перманентного отсутствия дензнаков и ничем не прикрытой бедности, но за качество продуктивности которых старший товарищ-приказчик давал свое пролетарское ручательство, поехали по мокрому асфальту, очень быстро, в роде как

бы на дутиках, да прямо на Кремль по прямой линии, без уклонений.

Я смежил очи, дабы не потерять присутствия духа, когда железными цепями загремит подъемный мост, за которым — даже жутко вымолвить — История, и слышу я, как бы сквозь сон да туман, речь моего покровителя и спутника по знаменательному пути:

— Серезка... (извиняюсь, что я осмеливаюсь на такую фамильярность, но под сим выразительным прозвищем подразумевался не кто иной, как Член Коллегии, и только желание высказать Вам всю свою горечь по поводу утери моей веры в личность Петра Письменного заставляет меня таким непочтительным именем временно облечь крупнейшего деятеля многоуважаемого Комиссариата по Военным-Сухопутным и Морским Флотским Дела́м) — Серезка парняга невредный. Веселый шельма. Мы у него посидим, закусим, а потом все вместе закатимся к...

И такое тут имя прозвучало, и такое имя было всеми буквами названо, до последней, как оно красуется перед нашим умственным и реальным взором под всеми важнейшими декретами социалистического строительства, что стал я сползать, а один из сверточков за мной, но я, чувствуя телом своим, что в свертке округленности, и переливается в них госспирт, по слову писателя американского Купера именуемый перед лицом бледнолицых братьев «огненной водой», моментально преодолел свою зарубежную робость и глаза открыл, дабы спасти сверточек от страшного падения на твердые камни мостовой.

И что же я вижу? Кремль уходит от нас неземным видением, а Ванька заворачивает на Чугунный мост и останавливается у домишка самого мелко-буржуазного вида и происхождения. И что же оказалось и что же установилось? Члена Коллегии, действительно, по фамилии зовут

Хлебниковым, по по имени и отчеству отнюдь не Сергеем Яковлевичем, а даже наоборот: Карлом Альбертовичем, а прибыли мы в первом часу ночи совершенно правильно к некоему Сергею Аристарховичу, по сей Сережка в списках Красной Армии не значится, а является бывшим владельцем ситце-набивной фабрики, получив оную в приданое за своей женой плюс на всю жизнь билет на балетные спектакли Большого Театра, меценатом которых состоял его покойный тесть, умерший от грудной жабы и расстройства дел, в погах императорской балерины Башкиной, чьи мпфологиические пожки я имел ненасытное удовольствие лицезреть в Берлине в «Русском Театре», где я, будучи невольным эмигрантом и тщетно ходатайствуя в полномочном представительстве, заправлял лампы в уборных на предмет экономии электрической энергии.

О декретной фамилии и говорить не приходится, хотя бы по одному тому, что легкомысленно названный Петром Письменным один из вождей нашего возрождающегося к мирной жизни отчества рабочих и крестьян второй месяц пребывает в отпуску на лоне благоуханной природы Крымской автономной республики, столь смело вырванной из рук врангелевских опричников, не говоря уже о том, что означенная высокая личность, как об этом рассказывал впоследствии ценный мною пародный крестьянский поэт Алеша Кавун, литературных вещей нынешних писателей не одобряет и изволит говорить, что классические литераторы как русские, так и английские и греческие куда выше.

Мне исключительно приятно такое высокое мнение, и разделяю я его с закрытыми глазами, ибо все поступки Петра Письменного, о чем я расскажу преподабно, к классическому отношению не располагают, по, как человек исторического опыта, насчет греческой литературы принужден

возразить полным кворумом, ибо хотя греческих вещей не читал, но греков видел собственноручно в Одессе в эпоху десантного вмешательства ипородцев, пробыв в греческой зоне немало дней и безнадежно видя, как носатые греческие личности жульнически и неблагородно расхищают тяжким и честным трудом накопленное имущество моей крестной Антонины Павловны Жарковой, приютившей меня с чисто единоутробной материнской любовью в годину моих тяжких бедствий на юге гражданских восстаний, о чем глава моих мемуаров гласит:

«В ОГНЕННОМ КОЛЬЦЕ ПЫЛАЮЩЕГО ЮГА»

Так некорректно поступив со мной и заставив меня понапрасну изнывать в волнении в присутствии фальшивого Члена Коллегии, Петр Письменный тем самым мое доверие к нему снизил, и потому в первых строках моих мемуаров я имею все основания сомневаться, согласно ли правде изволю я Вас называть по имени и отчеству, и есть ли Вы тот самый Алексей Киприанович, к коему не однажды направлял меня вышеупомянутый Петр Письменный, говоря, что по должности своей в Республике Вы обозреваете все литературные рукописи, вышедшие из народа, за что положено Вам жалованье по самой высшей спец-ставке, а не какая-нибудь бывшая мануфактурная пьявка.

Обратившись уже давным-давно тому назад к ценному мною, не в пример другим, к Алеше Кавуну за подтверждением касательно Вашей правильной личности, я по Вашему адресу точной справки не получил, ибо по неизвестным мне причинам имеет к Вам Алеша Кавун небольшую обиду, и хотя не отрицал Вашей должности, все же сказал мне, что будто от Вас польза мне будет небольшая, так как вы решили неукоснительно неглижировать писателями из гущи народа.

С одной стороны, не имея причин иронически относиться к словам Алеши Кавуна, а с другой, противоположной стороны, слыша лестные слова Петра Письменного, в огорчении направился к себе домой и излил свои наиболее сомнения другу своему и однокашнику по моим земным скитаниям, из морских офицеров, Мишелью, который, по правде говоря, такой же флотский человек, как пресловутая личность Петр Письменный является ближайшим другом Члена Коллегии в вышеприведенном инциденте.

Сей Мишель, насколько мне известно, всего один раз плавал по морю, когда мы с ним удирали без того, чтоб оглянуться на развалины прошлого, из Одессы в Константинополь, и то лежал повернутый ниц воблой и бессердечно и нетактично облевал все Черное море — хам!

А вот другая глава:

«МЫ ИДЕМ НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ»

И в ней Вы сейчас соизволите увидеть, почему Мишель отбывал в дальнее плаванье, одевшись моряком, а я как бы в роде чиновника особых важных поручений при градоначальстве, как и сможете убедиться, что сие светило подло и отвратительно обмануло нас, ввергнув в пучину неограниченных бедствий, ибо, не имея возможности получить протекцию на отплывающий пароход, Мишель на Молдаванке спешно купил за 20 колокольчиков верхнюю часть морского обмундирования, а мне приказал заделаться чиновником, под каковыми декорациями мы проскочили в зверском хаосе отбывающих купцов и чинов воинских и гражданских учреждений, прицепившись, будто на предмет охраны, к крупному багажу самого командующего войсками.

И оказалось в самом скором времени, что идем мы не к солнцу, как говорил мне Мишель, указывая на западную культуру, а к совершенному мраку, в коем мы глубоко

потопули, как только Мишель, именуя себя мичманом и близким племянником контр-адмирала Рождественского и заведя ученый разговор о состоянии и активности нашего морского флота, безрассудно поженил капонерку с крейсера, а покойного дядюшку своего оживил ни за что ни про что, вследствие чего был уличен, что незамедлительно отразилось на мне, как на моем физическом состоянии, так и на моем звании.

Сперва били Мишеля, а трудились над ним преимущественно господа офицеры, особенно тот высокий и черноглазый, который, некоторое число недель погоды, с тем же упомянутым Мишелем и в компании со мной открыл товарищескую рулетку на паях и оказался далеко не офицером, а даже иудеем, что открылось нашему взору в турецкой бане.

Изнемогая под офицерским давлением, Мишель указал на меня, как на личность из градоначальства, слабившую его письменными документальными данными, после чего я был призван в каюту достоверных чинов градоначальства и допрошен с таким пристрастием и выкинут так гнушно, что в одну роковую минуту пронесся над всем кораблем, видя под собой морскую пучину и всем телом ощущая все принадлежности французского корабля, любезно предоставленного высшими властями русскому воинству.

Рассекая дикие бурные волны чернейшего из черных морей, корабль несся на всех парусах к культурному Западу, вследствие чего и отсутствия твердой земли меня и Мишеля командный состав принужден был оставить на корабле, однако, лишив нас продовольствия и неоднократно пытаясь кинуть на прокорм акулам.

Тогда я, сговорившись с Мишелем и извинительно прося ему слабость и неустойчивость его языка, подал письменное заявление господину начальнику Освага,

находящемся в каюте номер 12, лично вручив, предлагая свои литературские услуги в пользу пропаганды и прося впредь до прибытия на сушу выдать мне пять банок консервов и фунт колотого сахару.

Но господин начальник Осага, несмотря на свое интеллигентное профессорское звание Киевского Университета и пренебрегая моим почерком, которому мне удалось придать большое изящество даже при качке и внутреннем голоде, раздиравшем мои внутренности, послал меня к чертовой матери, а затем на такой высокий этаж мою покойную мамочку, что даже у покойницы могла голова закружиться.

Выбираясь из каюты холдного профессора почти на четвереньках, я, жалея Мишеля, голодного своего друга, невольно увлек с собой малюсенькую связку охотничьих колбас, коих в стороне лежала целая груда, но за порогом был постигнут кровожадным профессором, и ситуация обернулась так, что колбаски остались у него, а подбитый глаз у меня, так как я решил для удобства лечь и животом прикрыл колбаски, а профессор Киевского Университета изволил быть на ногах, почему от башмака его пострадал мой глаз, а отнюдь не его, прикрытый золотыми очками, о чем и есть рассказ в главе:

«НЕ ИНТЕЛЛИГЕНТ, А ПРОСТО ИЗМЫВАТЕЛЬ»

На что все это и без всякого сострадания к моему контуженному глазу Мишель самым наглым образом сказал, что я веснущатый дурак, и что веснущатых всегда били, даже с самых доисторических времен, и что человек с такими веснушками никогда никакого приличного дела до конца не доведет.

Возражать что-либо было неудобно и неловко, ибо, действительно, веснушки у меня роковые, их на мне миллион, — но у кого их не бывает, — но система моих

веснушек тем и примечательна, что каждому их, так сказать, семейству соответствует одна крайне неприличная, размером с двугривенный: на лбу, допустим, один двугривенный, на щеках по двугривенному, в общем и целом на всем лице и на руках, а также и на шее как спереди, так и сзади, сипх крупных роковых кружков не менее, чем на два с полтиной. Посему я и являюсь человеком запоминательным, что нестерпимо и непереносно в период гражданской войны, не говоря уже о противности для чужого глаза, и по причине чего я перенес не мало страданий и отмечался ударами судьбы, и почему я очень много грущу и тоскую, не находя себе психологического отдыха, что сейчас же доложу в главе о моей личности:

«МОЙ ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ МИР»

Кстати сказать, эта чресполосица моего лица и послужила главной пружиной тому, что некогда дорогой мне крестьянский певец Алеша Кавун подарил мне свою дружбу, чем скрасил однажды мою жизнь, где стройная вереница неудач проходит по всем страницам моей жизненной повести.

И по сей день не знает оный друг, что есть я не что иное, как личность, без всякой прописки пробравшаяся на свою законную родину, с нарушением, однако, законов, установленных с высоты Совнаркома, и что хоть изволю я попирать ногами дорогую мне мостовую Москвы твердо и бесстрашно, будто как всякий уважающий себя и товарищей своих советский подданный, но шатаюсь и трепещу каждый миг и в ногах своих не уверен, особенно в оживленных и воспрявших пунктах нашей красной столицы.

И по сей час не знает цитируемый мною друг, что, идя со мной рядом, как бы с равным, он в то же время имел по правую руку от себя пренесчастное человеческое создание, кого с полным правом гражданского долга может

задержать любой верный слуга социалистического отечества, но отнюдь не сыщика царской охрпки, каким званием господину Петру Письменному угодно было меня погубить, и каковой кличкой я снова узрел перед собой проклятые двери на своем горестном пути.

И кому ведомо, что каждодневно, закончив свои суетные дела, я с превеликим страхом пробираюсь в свое наибеднейшее жилище, которое территориально примыкает к Собачьей площадке, откуда проходным двором есть нелегальный путь в чортов тупичок без имени и звания, — тупичок и копчено. И в таком тупичке, в плачевных антисанитарных условиях мы с Мишелем имеем свой шаткий угол, где слева за матерчатой перегородкой прачка Анна Матвеевна греет нас пламенем утюгов, свою молодую жизнь надрывая над буржуазными манишками и кальсонами, а справа звучит пролетарский стук слесаря Маточкина, который свой рабочий серп и молот откладывает в сторону лишь в исключительных случаях своего ухажерства за Анной Матвеевной, в чем однако мешает ему Мишель, ставший, по моим данным, недели две тому назад сожителем Анны Матвеевны.

Сие неравное схождение, — ибо Мишель хоть и присвоил себе однажды на наше общее горе незаслуженное им звание мичмана, все же есть отпрыск дворянского рода, чего я не могу не отметить при всем моем глубоком преклонении перед разрушением сословий и чинов, — одной своей половиной приятно мне, дав мне возможность снять Мишеля с моего иждивения, но другой половиной повергает меня в неприкрашенный ужас.

Причина паступившего ужаса заключается в неукоснительном желании Анны Матвеевны оформить вспыхнувшую любовь не только перед Советской Властью и не только перед мрачным лицом слесаря Маточкина, но и перед

правлением жилтоварищества, на предмет расширения жилой площади и перехода в более приличную мебелировку в ожидании результатов девятого месяца.

А Анне Матвеевне неизвестно и ни за что не должно стать известным, что у Мишеля документ является не только липовым, а прямо, надо сказать, осиповым и на свет божий ни в коем случае вытаскен быть не может. А принимая во внимание недавнее вступление председателя правления в коммунистическую партию с долголетним стажем и характер его личности и то, что Мишель, будучи снова уличенным, незаметительно, по товарищеской солидарности укажет на меня, — оформление любви грозит нам неслыханными бедствиями.

Однажды, пробираясь в свой приют в неурочный час, раньше обыкновенного, я был незримым свидетелем общего собрания жильцов, происходящего по случаю теплого летнего вечера во дворе, неподалеку от общественного ретирара, и видел, как революционно-жарко держал себя вышеуказанный председатель, крича не только на жильцов мелкого ранга, но даже и на управляющего делами знаменитого треста «Аз-рыба», на нашего главного жильца, на наше единственное интеллигентное украшение, на паш, так сказать, лепной барельеф на фоне очень серого люда. Притаившись, я слышал, как оный председатель требовал, чтобы дворцы поменялись с хижинами, и когда вышеуказанный управляющий делами изволил заметить, что жилплощадь есть достояние всего народа, и что в нашем доме буржуазии не имеется, а есть одно уравнение для всех, председатель, рабочий человек без всякого образования, крикнул ему на ты:

— Ни черта ты не знаешь. Не видишь, что за твоей спиной, а еще лезешь. Всякий сознательный коммунист должен глядеть себе взад.

Какое же тут оформление, как можно даже приступить к нему, и что получится, когда председатель соизволит обернуться к нам и позади себя найдет такую морскую фигуру, как Мишель, и тем самым и меня, и обратит внимание на мои веснушки, ибо взор у него очень пропитательный?

Спотыкаясь, побежал я к Мишелю, умоляя его аннулировать немедленно любовную связь и уступить Анну Матвеевну пролетариату, но Мишель отверг мое разумное предложение и сказал, что раз женщина отдала ему свое сердце и в поте лица своего делит с обожаемым человеком свой скудный обед и подушку в синей, с прошивками наволочке, то он, как бывший офицер, не имеет права нарушать мужских правил охраны женского сердца от незаслуженных ран.

И в тот же вечер, посидев с часок у памятника Гоголю, писателю, коему человеческая душа была досконально известна, решил я открыть свою душу другому писателю и посоветоваться с ним, как мне быть, как мне вступить на стезю правопорядка и избавиться раз навсегда и на веки веков от враждебной стихии, окружающей меня в лице председателя домкома, любви Анны Матвеевны к моему ничтожному другу и слесаря Маточкина, который после совокупления Анны Матвеевны с Мишелем не стал мне давать проходу, допытываясь неугомонно:

— А не скажете ли вы мне, из каких таких мест будет этот хахаль, товарищек ваш? Хочу ему морду набить, да не знаю, из какой губернии он.

Сии размышления овладели мной еще до того, как Петр Письменный заставил меня усомниться в его порядочности, и потому я направился к Петру Письменному, по дороге определяя размер своего разговора и заранее мысленно обозревая всю свою многострадальную жизнь заграничного вояжа, где в каждом городе мне попадало, как незаконно-рожденному пасынку, особливо в Париже, стараниями

небезызвестного господина контр-революционера Свицкого, к коему меня прикомандировали разъездным курьером, о чем я, не утаивая ни крошки, расскажу сейчас в главе:

«ВЗАД И ВПЕРЕД ПОД ЗАБРАЛОМ»

Собственно говоря, тут и рассказывать нечего: гонял меня как сукиного сына от одного генерала к другому, и был один такой генерал, что взял у меня займы 20 франков до вечера, а по сей день их нету, и каждому генералу приказано мне было господином Свицким говорить: «Готовьтесь, есть приказ быть наготове», и от каждого генерала привозил я ответ, что они всегда готовы, а также в придачу маленький счетец.

Помня слова господина Письменного (теперь я иначе называть его не могу, ибо лишаю его даже простого гражданского звания за клевету), сказавшего мне на заре нашего знакомства, что могу я приходить к нему в любой час без предупреждения, ибо очень интересуется его моя личность, и видит он во мне продукт массового сдвига российского народонаселения с исторических своих точек, что крайне важно для него в портретном отношении, я прошлепал с Пречистенского бульвара до Благуши пешком, по грустному недоразумению, как всегда, обладая одной сиротливой бумажкой, имеющей хождение наравне с серебряной монетой — ровно одна восьмая тарифа для поездки трам-трамом от Арбатской площади до центра, о дальнейшем уже не говоря.

Скрепя сердце, застегнулся я на все пуговицы своей гимнастерки и отдался враждебному дождю, однако не забывая по пути психологически наблюдать за народным движением Москвы, каковые наблюдения неизменно переполняют мою душу высокой радостью в размышлении: и куда мы только придем?

Ибо, глубокоуважаемый Алексей Киприанович, при всем сознании, что я даже мизинчиком не притронулся к созданию творчества нашей обновленной родины, а даже наоборот, одно время всячески мешал воздвигать твердыни оплота и был как бы в роде вампира, коего пауки заставляли сосать вместе с ними кровь крестьян и рабочих, ныне поднятых на верхушку Советской Власти, и при всем убеждении, что есть я ныне в своей стране самая ничтожная личность, не могущая даже пяти копеек внести в пользу Добролета, я не могу отказаться от гордости, переполняющей мою душу при взгляде на магазины Моссельпрома или Жир-Кости с их благоуханием ароматов, и полагаю, что утереть нос такому подлому городу, как Берлин, есть неотложная задача наших вождей, а если можно и Парижу, — то я заранее низко и благодарно кланяюсь всем портретам, не смея даже про себя называть их по имени-отчеству, что позволил себе однажды господин Письменный, не имея на то никакого права.

Так вот, с одной стороны, волнуя себя страхами по поводу могущих возникнуть из любовной истории Мишеля последствий, а с другой, как сын своего отечества, наслаждаясь пейзажами преуспевания и прогресса, добрал я до Благуши тихим ходом в сумерки и позвонил к господину Письменному, мокрый насквозь и окончательно.

Однако, господин Письменный, не дав мне даже немножечко просохнуть, промолвил, что сейчас за ним должен приехать автомобиль, и что, если я хочу, я могу посидеть с его мамашей, при чем господин Письменный такую фамилию хозяина автомобиля загнул, что я остолбенел, а мамаша трубку уронила и даже перекрестилась.

А так как мой приход к господину Письменному протекал до отвратительной поездки к Члену Коллегии, и я своими глазами не так давно видел фотографическое

изображение господина Письменного в самом органе Вдicka, в «Красной Ниве», то я все принял на веру и мог только порадоваться, что свела меня судьба с такой персональностью, и согласился посидеть с мамашей, о чем впоследствии пришлось пожалеть, ибо мамаша господина Письменного хоть и почтенная женщина и набожная, а трубку сосала как фельдфебель, и посему, оставшись со мной наедине, тотчас погнала меня на тот конец Благуши за табак, так как поблизости табачных мальчишек не было, а по возвращении моем не только чаем меня не угостила, при чем в соседстве с чаем находилось даже вишневое варенье, но даже попрекнула, что я на полу наследил, в сердцах сказав громко и вслух, что Петька всякую шваль к себе водит неизвестно для чего.

При сем должен заметить, что господин Письменный, похваляясь при мне, что платят ему не в пример другим по целому червонцу за самую что ни на есть малосенькую строчку, однако, мамаше своей на табачное довольствие дает сущие гроши, вследствие чего седая мать семейства принуждена курить самую дрянь и посему приятным запахом не отличается, а так как грудь у меня с детства слабая и притом еще пострадавшая на французском корабле от легкомысленного поведения Мишеля, то, покинув него-степриимный дом господина Письменного, я долго на крыльце кашлял. И должен еще добавить, что как я ни прислушивался, а гудения и пыхтения автомобиля я установить не мог, из чего явствует, что господин Письменный уже тогда прибегал к весьма некорректным способам отвязаться от меня, предоставив мамаше терзать мою грудь гостабаком последнего сорта.

А еще говорил мне: ты, говорит, можешь свою автобиографию мне не выкладывать, я и так тебя насквозь вижу и весь твой багаж. Ты, говорит, будешь моей моделью

я, говорит, из тебя такой коллективный портрет сделаю, что Петр Семенович Коган за голову схватится.

Не имея счастья лично знать гражданина Когана и не зная, в каком комиссариате они пребывают, я, конечно, о голове их ничего сказать не мог, но к своему портрету равнодушного отношения не выдержал и попросил я господина Письменного:

— Умоляю вас, дорогой товарищ. Не надо о моих веснушках. Ради всего святого, не надо.

И мог ли я сказать господину Письменному, что, публично выставив в печати мои веснушки, он одним духом выдаст меня головой, так так еще господин Свидкий в Париже изволил мне однажды сказать, когда отправляя меня с одним своим поручением в Варшаву:

— Не вздумай только с моими деньгами перемахнуть в Россию. Там в Чека твои веснушки зарегистрированы надлежащим образом.

Так вот умоляю я господина Письменного:

— Не надо о веснушках... Семейное несчастье, что ж поделаешь. У нас так и повелось в роду: мужчины все в веснушках, а женская половина с красным пятном у левого височка — от прабабушки, в горящем доме разрешившейся от беремени. Давайте лучше о душе, ради бога, о душе. Душа у меня без веснушек.

А он как стукнет кулаком:

— Ты, говорит, не можешь понять марксистского метода в литературе. Всем душам грош цена. Быт нужен, колер локал нужен. А ты с душой лезешь.

Вспомнил я все это, кашляя на крыльчке, и так мне тоскливо стало, и порешил я, не глядя на дождь, пойти к другому сочинителю, ибо не терпелось мне душу свою выложить. От одиночества своего изнемогая и притом изыскуя способы избавления от дурных последствий любовного

экстаза Анны Матвеевны и моей беспризорности и обливаемый небесными струями, дотащился я с грехом пополам и с печалью во всем объеме до Козижки, где проживал человек настоящий, отмеченный высокой славой, приятный мне и дорогой Алеша Кавун.

И есть мое знакомство с ним наиприятнейшее мое воспоминание тяжелой поры первых дней пребывания в Москве, куда я заявился гол и наг и нищ, ограбленный на польско-русской границе подлыми контрабандистами, о чем следуют горестные строки в главе:

«Я ВОЗВРАЩАЮСЬ К РОДНЫМ ПЕНАТАМ»

Сли контрабандисты, не ограничиваясь раздеванием меня и Мишеля, еще на прощанье наkostenяли, и предводитель их, дав мне по шее, сказал мерзким разбойничьим басом:

— И живет же человек с такими веснушками. Потеха!

Кому потеха, а кому тягчайший крест и каждодневное распятие, а познакомился я с Алешей Кавуном в пивнушке «Этикет», в районе моей с Мишелем деятельности, когда высоко-культурный декрет об ограничении выпивки двумя бутылками на персону надоумил Мишеля приступить к работе на предмет предложения своих услуг жаждущему народу. Работали мы по плану так: выбирая фигуру попроще, ибо на практике в скорости убедились, что такие фигуры к поглощению пива более склонны, чем интеллигентная среда, и завидя, что вторая бутылка при последнем издыхании и даже в пене не бьется, один из нас тихонечко подходил к клиенту и на ушко, словно мимоходом, изволил предлагать:

— Могу вам помочь. Извольте заказать, будто на меня.

Фигура, конечно, с восторгом, а я с боку на табуреточке, фигура пьет, а мне перепадает стакачик, кусочек воблы, а иной раз, глядишь, и яичница появляется, а при

удаче даже и телятинка холодная, а тут-как-тут Мишель: и на него парочку, итого уже значит шесть, и мы уже фигуре как родственники, никого нет ему дороже нас; но в скором времени принуждены мы были с горестью убедиться, что в одной пивной работать больше чем на трех фигур нельзя, ибо злосчастное мое лицо приелось половым людям, и стали половые нас выставлять, вследствие чего упала заработная плата, так что пришлось нам перебраться в другой район поинтеллигентнее, а чем демократичнее фигура, тем больше профиту.

Факт, ибо демократическая фигура в конце концов не ограничивается угощением и, целуя тебя чудесным русским хлебосольным поцелуем, от переполненной души идущим, дает еще и дензнаки на память о приятном знакомстве, а когда дензнаки в кармане, хотя бы даже в минимальном, урезанном количестве, и есть устойчивая надежда, что утром будет к чайку вечно-прекрасный, вечно-женственный колач, посыпанный белоснежной мукой, тогда не столь беспокойна душа при встречах с блюстителем закона, чей вид обычно с голодного утра приводит в потный ужас.

И выпал нам однажды на долю такой вечер, что крутились мы с Мишелем часов пять по пивным, а профиту никакого, даже одного соленого горошка на разводку, а без четверти одиннадцать подвернулся один молодой человек среднего роста, так с виду ничем не заметный, только очень пламенный. «Я, говорит, художник, а меня сжимают в тисках, не дают больше пары; я, говорит, полевая птичка, а мне хотят крылья обкорнать; я, говорит, задыхаюсь от такого бесчеловечного отношения Советского Правительства к вольному крестьянскому поэту, вот тебе и свобода, за которую мы кровь проливали».

Лицо у него приятное, правильное, с усиками. Помогли: сперва Мишель, потом я, затем Мишель на улиду вышел

по моему совету, за порогом зюд-вестку нахлобучил пониже, вернулся как бы другим человеком и новую пару получил, и молодой человек в такое настроение пришел, и так ему понравилась наша метода, что угостил нас не только неслыханно, но даже и приблизил к себе: стал читать свои стихотворные произведения и точно на веки купил меня.

— Молодцы,—говорит,—удивительные молодцы. Только русский человек такое изобретение открыть может. Разве какой-нибудь немец до этого способен додуматься? О, Россия, Россия, как ты прекрасна своими самородками!

И тут же сразу о нас стишок, о самородках, значит, и что на Запад нам наплевать, но какой замечательный: качается сам, стакана поднять не может,—я уж поил его, точно с ложечки младенчика, и, действительно, оказался сущим младенцем в доброте своей и прелести,—к полу никнет, а слова у него выходят из уст пахучие, точно у токаря стружки со станка.

Так до положенного часа присидели мы в «Этикете», молодой человек, оказавшийся впоследствии Алешей Кавуном, все громче и громче излагал нам свои мысли в рифмах, пивнушая публика, конечно, на это ноль внимания, впрочем, и Мишель тоже черствый человек, который одно только и делал, что на сосиски с капустой чрезмерно налегал, а, получив отбивную, даже раскраснелся и пятнами пошел, в роде как бы мои природные веснушки, а я хоть и не ел с утра, только одну сосиску ковырнул да и покинул ее без сожаления.

Не до того мне было, ибо столь внушительно подействовало на меня прекрасное знакомство с Алешей Кавуном, что подай мне в ту минуту дюжину устриц да бутылочку шабли,—и то отказался бы, как это было едено мною однажды в моем заграничном прошлом, когда я на Ривьере по поручению бывшего посла бывшей российской

империи вел слежку за его любовницей и ее шкатулочкой, о чем доскональный рассказ в главе:

«РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ НА РИВЬЕРЕ»

Номерок я снял в отеле попроще, но каждый день ел устриц, а к вечеру обязательно ходил на музыку, угощая себя пирожными и взбитыми сливками, каковое кушанье я нахожу одним из лучших, а затем я купил себе самую тонкую панаму и по сему случаю поставил на 22 номер все мои сбережения, на предмет покупки непромокаемого пальто, надеясь, что пальто вернется ко мне в сопровождении тросточки с золотым набалдашником, о каковой тросточке мечтал всю жизнь, а любовница обернулась женщиной весьма приткой и, слямзив у посла бриллиантовые штучки его покойной супруги, на Ривьере самым воровским и чудодейственным образом стипула с моих глаз, о чем я, разочаровавшись в 22 номере, верноподданно доложил, вернувшись в Париж, присовокупив маленький реестр понесенных расходов по политическому надзору за наглой женщиной.

Но взамен покрытия получил я реестр разодранным пополам из рук лакея, и тот же сволочуга-лакей незамедлительно принес мне мое старое обмундирование с желтыми обмотками, отобрав серый костюм, в коем я роскошествовал на Ривьере, а также и панаму с голубой ленточкой, купленную на мои кровные деньги, и, раздетого почти до положения санкулота, повел меня к послу, и жестокий посол тет-а-тет обложил меня.

Хоть бы посол настоящий при каком-нибудь стоящем государстве приличного масштаба а ля Франс, — так ведь нет: был при Николке самым завалающим посололишком в Греции, на губках раздобрел, а в Париже особнячок снял и филиал русского дипломатического корпуса открыл,

получив от Врангеля мандат на все времяпровождение в борьбе с товарищем Буденным.

Двадцать минут почти крыл меня самым неприкрашенным манером, а напоследок воскликнув: — И какой чорт надоумил меня с этим веснушчатым дураком связаться! — приказал мне выйти вон и вдогонку бросил мне разъяренно и злобно какую-то твердую принадлежность письменного прибора, которую я, не теряя присутствия духа, подобрал и впоследствии на Муфтарке загнал за порцию помидер фри, так как оный предмет оказался довольно миловидным пресс-папье, и еще раз эта полугреческая морда крикнула мне:

— Идиот, ни на что неспособный идиот!

О неспособностях некрасиво и невразумительно спорить, когда у одного предписание в Кредит а ля Лиопе и складка вдоль брюк без единой морщинки, а у другого желтые обмотки, вывезенные из одесской оккупации, и на память о единой и неделимой сотни «колокольчиков», которыми, извиняюсь за выражение, и ватер-клозет неловко окленть, и вот шагай с ними по Парижу, от Больших Бульваров до Пантеона, от Пантеона до фортификации, взад и вперед, взад и вперед, не имея возможности спи добровольческие популярные облигации обменять на самый крохотушный французский дензнак, и звони, и звони эдаким русским малиновым звоном, и пой, пой, несчастный сукин сын:

Ты звони, понамарь,
Мою Дуньку не замай.

Оплакивая итог своего реестра, воочию види перед собой сияющую бездну вслед за роскошной жизнью на Ривьере, когда я без антрекотов всяких а ля фуршет ни шагу, я на дыночках шмыгнул наутек, хотя знаю, очень хорошо знаю: приличествовало тут же не медля развернуть

свои обмотки, сплести их в жгут и снять железным жгутом без всякой дипломатии греческого приживала по щекам — по одной, да потом по другой: на тебе, получай должное от поработанного народа, которого ты интересы променял на греческие губки, тем более, что с одной стороны наша гнусная встреча протекала без всякого присутствия служебного персонала, а с другой — царский приспешник был в плечах еще уже моего, а я... на дыпочках.

Никогда не прошу себе этих дыпочек, клянусь Вам, высокоуважаемый Алексей Киприанович, во век не прошу себе, ибо хотя я и не раз унижался даже до... почти физического ощущения чужой руки, а все же разумею психологическую суть вещей, почему и есть у меня такая горячая склонность к писательскому люду.

Потому я так и разомлел душевно, столкнувшись в пивнушке «Этикет» с молодым человеком и узнав, что сей с успехами силуэт на фоне безобразного поглощения пива с похабщиной вслух есть не что иное, как крестьянский певец Алеша Кавун, которого полное собрание сочинений я получил в ту сладкую ночь, когда я с Мишелем вез Алешу Кавуна домой, и были встречены его подругой жизни с самыми горячими симпатиями, не в пример мамаше с трубкой господина Письменного, и даже не считал я нужным пугаться, когда Мишель самым невольным образом представился, целуя ручку подруги Алеши:

— Мишель, мичман в отставке.

И только очень грустно мне стало, когда милая и выразительная барышня, так по-хорошему и без всякого намерения обличить меня, обернувшись в мою скромную сторону, спросила: — А вы кто? — и низко опустив свои отвратные и губящие все мое человеческое достоинство веснушки, принужден был ответить холодными, ничего не говорящими словами: — Я его однокашник и товарищ, —

а сердцу хотелось проговорить иное, совсем иное, ибо в ту ночь душа моя трепетала и дрожала как овечий хвостик, но отнюдь не страхом, чего никак не мог психологически понять Мишель, занявший у подруги Алеши Кавуна рубль семьдесят пять копеек под честное слово, о каковом недоброе совестном займе я узнал лишь на обратном пути, остолбснев от позора и стыда при звоне презренных монет.

И, не взирая на поздний час, закричал я Мишелю:

— Предатель! Трижды предатель! — в ответ на что Мишель потащил меня к ослепительному преддверию ночной гастрономии, но я, отвернувшись, выдержал характер до отказа, и тогда Мишель плюнул в мою сторону и, как сытый блудливый кот, погнался за ночной женщиной, купив продажную плоть на святые деньги Алеши Кавуна, о чем я, конечно, постыдился рассказать Алеше Кавуну, не желая срывать маску с своего друга, но поутру счел своим достойным долгом просить прощения и извинения за несвоевременный заем товарища.

Сним, а может быть — обратным, тем, что несказанно удивился Алеша Кавун, увидев поутру мои веснушки, коих он ночью не разглядел, а разглядев, переполошился, приобрел я ненарушимые симпатии Алеши Кавуна.

И сказал мне Алеша Кавун с огромным восторгом:

— Ну и узор у тебя. Отмечен ты на славу. А я меченых люблю. Надоели мне гладкие морды нэпа. Рожа на рожу похожа. Я жажду разнообразия. Ты замечательное пятно. Говори мне «ты» и сопутствуй мне всюду.

Два месяца жили мы душа в душу, и хоть пребывали мы в теснейшем единении с утра до поздней ночи, точно две горошинки в одном стручке, и неотъемлемо друг от друга поглощали яства и всяческие пития, как законом разрешенные, так и не разрешенные, градусами выше продаваемого калибра, все же никак не решался я открыть Алеше

Кавуну свое неофициальное положение полубелого человека, боясь осуждения, ибо видал, с каким великим рвением изучает Алеша Кавун замечательную книгу товарища Бухарина «Азбука коммунизма», над означенной книгой которого и я разок поусердствовал, но впустую, ибо, однажды избитый в Константинополе гнусными армяшками, я, провалявшись в мозговом омрачении недель пять, потерял навсегда всякое понимание философских наук и таинств, подробности которого избития и причины его изложены в главе:

«МЕНЯ БЬЮТ НИ ЗА ЧТО НИ ПРО ЧТО»

А били меня армяне опять-таки из-за Мишеля, ибо в предварительном увозе двух девочек и в продаже их я никоим образом участия не принимал, а всем орудовал Мишель, и был я только как бы на часах для сигнализации, при чем, дав сигнал, от смущения сорвался с голоса и задания выполнить не мог, вследствие чего Мишель не получил двадцати пяти долларов, а я очутился на мосту, с исковерканной головой, при полном бессилии.

Бескорыстно испытывая универсальную любовь к Алексею Кавуну, я всячески оберегал его имущество и, хоть не раз предлагал мне Алеша Кавун: «Бери мои штаны. Дурень, берут же другие, даже не спросясь», я все же ни к одному предмету его домашнего обихода не прикоснулся, оставшись, как и был, по сей день в моем походном одеянии, а другие, особенно юношеские певцы пролетарского лагеря, так сказать, молодняк в писательском смысле, не то что штаны, целые тройки брали, на что Алеша Кавун говорил мне, когда я болел за его штаны и жилетки: «Ерунда. Вытри свои веснушки. Ерунда. Напишу вот поэму про Стеньку Разина — шубу себе енотовую сошью, цилиндр надену, в Мексику поеду».

На третьем месяце прихожу я однажды к Алеше Кавуну, а у него в комнате одни только пустые бутылки, да на стене бесструнная гитара болтается с огромной дырой у пула, и говорит мне хозяйка, что вчера бесценный мой друг пустил себе пулю в лоб, но в лоб не попал, а в живот, и что увезли его в больницу, а подруга его жизни убежала, так как, будучи почти причиной его стрельбы в намеченную цель, не пожелала быть на суде рабоче-крестьянской инспекции.

Трудно даже себе представить, как еле-еле выбрался я на улицу, а тут вечером говорит мне Мишель: «Антуан, едем на Волгу, до Нижнего с богом, а от Нижнего с прошлогодними билетами. Пройдет».

Потеряв от потери друга последнюю способность к рассуждению, я, как малое дитя, пошел за Мишелем, который мытарил меня немало, при чем пользы не было никакой, кроме воды и горных пейзажей Волги, расставшись с которыми, я вернулся в Москву, однако друга своего Алеша Кавуна в указанной больнице не найдя, ибо получил Алеша Кавун предписание от врачей жить в теплом краю, куда он и отбыл, раскинув свою палатку в известном городе Тифлисе.

До Тифлиса далеко, а тут-как-тут натолкнулся я на цитируемого мною выше Петра Письменного, к кому я, жажда писательского нравоучения, пошел с открытой душой, но который пустил про меня страшную клевету, будто я личность невозможная, пристающая и к охране большое отношение имеющая.

Сия клевета достигла ушей Алеша Кавуна, и Алеша Кавун, к горю моему, вернувшийся к тому времени из Тифлиса весьма насулепным, хоть и с загаром, и там же сочетавшийся браком с женщиной высокого грузинского происхождения, не пожелал принять меня и отказался, через прислугу, выслушать мою открытую и доскональную повесть.

А когда я, изнывая от раздражающих страданий, направился к главному и непосредственному источнику мрачной клеветы, дабы одно из двух: или умереть на пороге, или вернуть к себе сердце Алеши Кавуна, то мамаша господина Письменного, пыхнув мне в лицо трубкой, захлопнула дверь перед самым моим носом.

Вот так, уже не в подлых стенах проклятой заградницы, где трепал я свою честь и унижал свое достоинство ради какого-нибудь крауссанишка, а на любимой родине моей, снова на моем роковом пути в поисках правды стали захлопываться и закрываться двери, предмет мною непереносимый, ибо в заграничном моем прошлом измотали они меня и всю мою психологию, как, например, это было в Париже, в последнее мое хождение к нему, о чем прискорбно и популярно излагается в главе:

«СВИЦКИЙ ПРОВОКАЦИОННО РАСПРАВЛЯЕТСЯ СО МНОЙ»

Замечательная дверь была у Свицкого, такой двери к счастью, во всей нашей Республике не найти, ибо есть это продукт заграничной подлой смекалки: верхняя половина со стеклами, но стекла такие, что за ними ничего не видеть, только изволят они свет пропускать, а оказалось, что ты сквозь стекла ничего не видишь, когда стоишь перед дверью и в кнопку сообщаем о своем прибытии, но хозяйну из передней все видеть.

Но кто мог знать, как мог я догадаться о таком чортовом и бесчеловечном изобретении и в связи с этим о том, что Свицкий видел, как я, уходя от него, тут же на лестнице вскрыл письмо, а потерпи я минут пять — сидел бы я теперь, вместо того, чтоб терпеть от слесаря Маточкина и исходить тревогой от предполагаемого бракосочетания Анны Матвеевны с Мишедем, в Африке под пальмами бананов и фиников.

Должен я Вам сказать, как на духу, глубокоуважаемый Алексей Киприанович, что с восхода моих лет я мечтал об Африке, и когда папенька мой умер от разрыва слабого сердца, отягощенного большой семьей и неудачным пожаром в 1500 рублей застрахованного фамильного дома на Зацепе, и покойный Пазухин, Алексей Михайлович (приятный был человек), коего романы служили мне утехой в моих молодых мечтаниях, и который знавал моего папеньку, дал мне местечко в «Московском Листке» по полицейскому репортажу скандальных великосветских хроник, я сию минуту завел себе сберегательную книжечку для накопления ресурсов по поездке в жаркую и пленительную Африку. Такое тяготение не есть плод сухих размышлений впустую, а сие тесно связано с моим органическим состоянием душевного устремления к природе, ибо нет у меня любви к городам, а нужна мне только природа, и чтоб человек на лоне этой природы был гол, только ради культуры с повязкой на чреслах.

И по сей день от оногo тяготения я отказаться не могу, а в Африке, говорят, нет дверей, там просто ничего: порог — и всего тут, а за порогом дыновка, и вот так и вижу эту самую дыновку умственным своим взором, вижу, лелею мечту и тихонечко плачу перед всякой дверью, и могли я знать, как подкузьмит меня Свицкий своими фокусами.

Сей последний из последних человекoв без фокусов ни на шаг, такая уж у него была организация всего его склада, не мог он без фокусов, вот, к примеру, нижеследующая глава:

«ТАЙНА ТРЕХ ЧЕМОДАНОВ»

Когда я, еще до этой стеклянной двери, по его приказанию ездил в Варшаву и вез туда три чемодана фальшивых советских денег для передачи комитетским людям на предмет подрыва валюты, а также подкупа нужных изменников

своему отечеству на пограничной линии, он изволил вручить мне паспорт на имя Пушкина, — так и было прописано всеми буквами: Александр Пушкин, а в скобках по-французски.

— Почему такое имя? — спрашиваю я, вне себя от оскорбления, нанесенного памяти незабвенного гениального певца и драматурга.

А он мне отвечает, усмехнувшись и улыбнувшись как будто беззаботно и по-веселому:

— Насколько я знаю, вы были причастны к литературе. Легче будет запомнить новое имя. Да и вам приятнее.

Ведь все знал, удивительно, как все знал, а ведь я разве одному только Мишелю иной раз проболтаюсь, что в «Московском Листке» к литературе прикладывался и стремительное влечение к писательскому труду имею, но везти фальшивые деньги с паспортом на имя Александра Сергеевича Пушкина, перед памятником которому на Страстной площади даже генералы кланяются...

Я поехал, да попробуй я не поехать, да посмей я тогда отказать — одним головокружительным мигом Свидкий изъял бы меня из обращения — аннулированная монета, имеющая хождение по мытарствам; даже не поморщился бы, ибо разве поморщился он, когда, увидав сквозь стеклянную дверь мои почтовые операции, он беглым скоком настиг меня и втащил к себе, как котенка, за шиворот, что, конечно, не удивительно, так как я очень щупленький, у меня только обмотки боевые, а все остальное само по себе дивильное.

Разве поморщился он, когда я отчаянным, безвыходным голосом умолял его вручить мне хотя бы одну несчастную стофранковую бумажку взамен тех тысячных, что были в конверте, и вид которых порадовал меня на одну незабываемую минуту, чтобы тотчас безвозвратно потонуть во мраке моих последующих невезучих злосчастий, — разве снизошел он до

крика моей души? — пять штук, пять умопомрачительных шуршащих билетов французского тысячного достоинства.

И вторично открывая безбожную стеклянную дверь, чтоб окончательно выставить меня и вколотить последний гвоздь в гроб моего падения, промолвил он мне со своей подлой белобрысой усмешечкой:

— Милый мой, хоть вы и Пушкин, а дурак. Вы, литератор, авось вы Тютчева помните? — «О, бурь заснувших не буди, под ними хаос шевелится». Я разбудил вас. Конвертиком. Мне нужна была проверочка. Я за свои пять тысяч был спокоен. Расчет мой, основанный на вашем веснушчатом украшении, оказался безошибочным. А теперь: вон!

Тютчева я, действительно, что-то не помню, но, собственно говоря, мне тоже следовало ответить ему цитатой из нашего фольклора, но уже было поздно: я очень почему-то быстро катился вниз по лестнице и, пролетев мимо гнусно взирающей на мой уход консержки, очутился в самой глубине хаоса без сантима, принужденный ночевать на скамейках Сан-Мишеля, в то время как вокруг меня капитализм пировал и обжирался.

И мог ли я даже самой задней мыслью своей предполагать, что подобный хаос застигнет меня в моем возрожденном отечестве, и что, благодаря господину Письменному, я снова буду лидезреть перед собой движение запираемых дверей, перед коими я бессилен утолить свою нечеловеческую жажду право-порядковой жизни без страха перед органами ареста и изъятия?

И куда я денусь? И где преклоню я свою помраченную голову, когда Анна Матвеевна возьмет верх над Мишелем, и прикажет мне товарищ председатель правления жилтоварищества покинуть в двадцать четыре часа последнее убежище и представит по участку мой безобразный документ, над которым любой милиционерский может расплакаться от огорчения.

Самым недостойным образом господин Письменный погубил мою близость с Алешей Кавуном, на личность которого, принимая во внимание его знакомство со многими высшими чинами Правительства Советов всех трудовых депутатов, я возлагал затаенные чаяния на предмет легализации моих прошлых деяний, — и почему я только, когда Алеша Кавун с любовью еще дул со мной вместе пиво и пр., молчал и не припадал к его великодушию?

Трижды стучался я к Алеше Кавуну, но не в пример бывшей его подруге, которая для первого знакомства даже рубля семидесяти пяти копеек не пожалела, его нынешняя грузинская жена неукоснительно запирала передо мной дверь, а я, стукнув почтительно, каждый раз гадал на пальцах, к каковому гаданию я приучился заграничным суеверием, особенно в Константинополе, после того как, вышедши из больницы бритым и небрежно починенным в ранах и услышав от Мишеля анти-дружеские слова «дураков всегда бреют», я снюхался с другими армянами, более достойными, о чем мои мемуары рассказывают в главе:

«КАВУКЪЯНЦ МЕНЯ ЭКСПЛОАТИРУЕТ»

Сей фигурант, пользуясь недолеченной моей раной в голове и принимая во внимание, что в цифрах я забываюсь, платил мне комиссионные бесчестно, задним числом делая вычеты незапомненных мною авансов, и гонял меня по всему собачьему городу Константинополю, наводя на меня панику, в коей панике прибыл я однажды к одной двери и замер перед пею скрюченным листочком, оторвавшемся от ветки родимой, по слову бывшего поручика и меланхолического певца Михаила Юрьевича Лермонтова.

Стою и глазам своим не верю, тут тебе и минареты, и кавасы, и Золотой Рог, и Клод Фаррер, и шербет, а дверь обита клеенкой, точь-в-точь, как было у нас на Заде, когда

папенька еще не горел, — стою и гадаю: пройдет или не пройдет? И от удивительной клеенки оправиться не могу, и так на пальцах и этак, и все решиться не могу, ибо как-никак, а бывшая персона большая.

Правда, по бедности по подписному листу существует, от лиры до лиры под прошлое, но все-таки титулованная личность, в Симбирской губернии пять его имений революция целый месяц жгла, обратив в инвентарь казны, а я — насчет девочек в возрасте, приблизительно, от девяти до четырнадцати и ни в коем случае больше, ибо больше нет уже доверия к девственности в виду развратности, и без различия национальности и без всякого антисемитизма, даже наоборот — предпочтительнее евреечки.

Продолжаю стоять и все гадаю, и пальцы сходятся, и самое простое будто дело, если хорошенько подумать — средняя пропорция между конторой и пансиончиком... спрос вызывает предложение... политическая экономия... дивная связь с поставщиками... полная гарантия тайны, передается дело, как, бывало, у нас в «Московском Листке» объявление петитом: «Продается за выездом хозяина мастерская на полном ходу», — а я все стою и гадаю, хотя все в исправности, и нужна только фирма, требуется звучная фамилия без подозрения на предмет полиции.

— Есть! — как говорит без разрешения на то Мишель, эта морская свинья, за всю свою жизнь один раз на море побывавшая, губившая меня не однажды и ныне собирающаяся окончательно загубить меня своей слабостью к Анне Матвеевне, коей не терпится влезть в буржуазный уклад жизни, из подвального помещения в первый этаж рядом с управляющим делами. А когда в седьмой раз твердо сошлись указательные пальцы обеих рук при полном закрытии глаз, толкнул я клеенчатую дверь, вошел и вижу, что князь-то в кресле, ноги его закутаны пледом, а перед ним блюдечко с клюквой.

Клянусь вам, достоуважаемый Алексей Киприанович, клянусь прахом моей мамочки и лгать Вам не намерен, ибо собираюсь я изложить Вам мемуары своей жизни в подлинном виде без усупки и утечки, что с клюквой, и вижу клюкву своими глазами и волнуюсь и не могу от нее взор отвести и не могу никак понять: шербет, саям алейкум, Клод Фаррер, человек, который убил — и вдруг клюква, откуда? — и чувствую: холодком тянет от блюдечка, таким настоящим, нашим русским предзимним холодком.

И, от чуда такого потеряв почву под ногами, думаю: господи ты, боже, въехал же я. Как тут начнешь, такому человеку, да возле клюквы, да о девочках? Об агентуре прелюбодения такому человеку?

Но жить-то, жить-то надо, ведь выпить русскому человеку тоже надо после этого проклятого арабского кофе, где питья-то с наперсток, а сажи да дряни всякой напихано с полфунта, и ведь без того, чтоб перехватить съедобного, не просуществовать даже наипрезреннейшему человеку, даже такому, у кого на лице веснушки в чехарду играют, и вот начинаю:

— Так и так... направил меня к вам Кавукьянц, — путаюсь, но продолжаю, спотыкаюсь, нелогически развиваю свою мысль, а он резко рвет мою ткань вслух высказываемых мыслей:

— Что? Кто вас послал? Кавукьянц? Не может быть. Я работаю с Агорьянцем. Кавукьянц это должен знать, и вчера троечку доставил Агорьянцу. Я больше не могу. И прошу меня избавить от армянской конкуренции!

Да как вскочит, да как пледом замahнется.

— Знаю я вашу веснушчатую морду. Вчера во сне недаром видел. Вон, сыщик, вон! — и блюдечко на пол, и клюква на пол, а я всех девочек отдал бы за одну ягоду.

И не удержался, чтоб не поднять обожаемую ягоду, а князь как завизжит:

— Не смей меня хватать за ноги. Серж, Серж, сюда!
И вот следует глава в порядке очереди:

«МОЕ РАССТАВАНИЕ С КНЯЗЕМ КУРТОВСКИМ»

Подобно бешеному наскоку непобедимой Красной армии, выскочил упомянутый Серж наружу, настиг меня и, потрудившись надо мной не больше двух минут, с разрешения князя истерзав мою личность до кровоиспускания, выкинул сперва в переднюю, а затем дальше, клеенчатой дверью прищемив мне ногу, вследствие чего сия замаскированная дверь обрушилась на меня двойной тяжестью, подобно ныне двери Алеши Кавуна, ибо дверь означенного певца из народа мною не заслужена, и был сей Алеша Кавун до жинитьбы своей истинным народным человеком, но в Тифлисе, приобретя в подруги жизни грузинскую девицу знатного происхождения, народу изменил и, как мне известно, даже заказал себе визитные карточки, при чем каждый день делает маникюр.

А когда вот вышвырнули меня за дверь русского ресторана в Берлине за невзнос платы, и самого этого проклятого борща я и переварить не успел, сказал я себе окончательно и навсегда: довольно, не желаю и не хочу я больше никаких дверей, ибо есть я сын своего отечества, и другая дверь мне нужна — вот так щелочкой приоткрыть ее, в щелочку заглянуть и в щелочку проскользнуть.

Ибо... да потому что надо в финале напрямик сказать: я очень устал, я могу искренно сказать, что безмерно устал, катастрофически устал, и нет на мне живого места, и, если я, отвернувшись в сторону, дабы не разрыдаться, разверну свои обмотки, — Вы увидите сплошные раны, выражение фигуральное, но оно полно значения, ибо есть речи, значение которых... но и есть речи, за которые в Гепеу по головке не погладят. Но ведь я, ведь я совершенно

безвредное существо, и напрасно, не по заслугам наказан веснушками, неприличность коих вне моей власти, по ведь я такая сугубо штатская личность, и живу я, никого не трогая, в тушечке за Собачьей площадкой, и даже слесарь Маточкин знает, на чем я сплю и чем укрываюсь, и только напрасно пристаёт он ко мне, желая узнать губернию Мишеля, в рождении которого я отнюдь не повинен.

Я укрываюсь лохмотьями, но я не укрываюсь от законных властей, ибо не закона я боюсь, а дверей, и если в Генеу за мной закроется дверь, то я клянусь Вам честным словом — а оно твердо, как революционная воля русского социалистического парода — незамедлительно, давно отказавшись от религиозных предрассудков, повешусь на своих обмотках.

Потому я доселе лица своего не обнаруживаю, предполагая это сделать с великодушной помощью Алеши Кавуна, но так как Алеша Кавун заслонился от меня урожденной грузинской княжкой, а господин Письменный погрузил меня в атмосферу черной клеветы, то остается мне только выставить себя в мемуарах и оные мемуары препроводить Вам, дабы вы, коему все народные произведения идут на просмотр, для чего Вы и поставлены, просмотрели и сие мое жизненное сочинение, которое и есть мои мемуары с очень интересными отдельными оглавлениями глав, и, как писателя из народа, спасли от препровождения в Генеу, чего я не перенесу и о чем ставлю в окончании главу:

«ПОСЛЕДНИЙ АККОРД МЕМОУАРОВ»

Миленский, родной Алексей Киприанович, Христом-богом прошу, ведь страшно мне, и некому за меня заступиться...

Хутор «Эртелево»

Август 1925

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Китайские тени	5
Паноптикум	22
Горбатый	61
Княжна	67
Человек и его паспорт	77
Когда цветет вишня	94
Мемуары веснушчатого человека	114

Цена 1 р. 10 к.



Адрес Издательства (Правление)

Москва, Варварка, Псковский пер., 7

Центральный Книжный Склад:

Москва, Лубянский Пассаж, помещ. №№ 25—30

КАТАЛОГИ по требованию — БЕСПЛАТНО